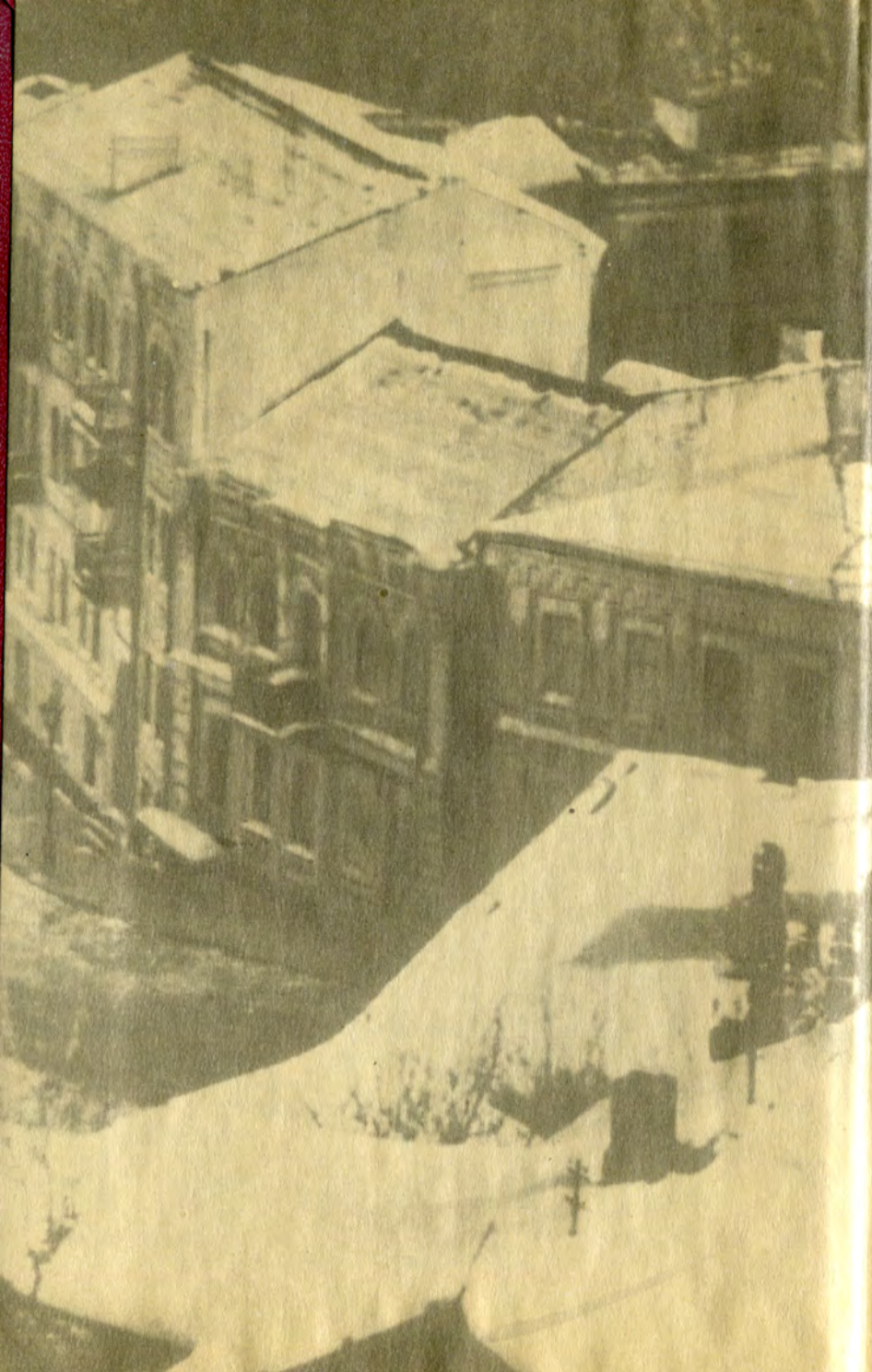


МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Романы и рассказы







М. Бураков

МИХАИЛ БУЛТАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ВИКТОР ПЕТЕЛИН

*Составление,
предисловие, подготовка текста*

1

ДЬЯВОЛИАДА

2

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

3

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

4

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

5

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

6

КАБАЛА СВЯТОШ

7

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

8

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

9

МАСТЕР И МАРГАРИТА

10

ПИСЬМА

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ВТОРОЙ

РОКОВЫЕ ЯЙЦА



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
ФЕЛЬЕТОНЫ, ОЧЕРКИ
март 1924 — март 1925

Москва
«ГОЛОС»
1995

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус) 6
Б 90

Редакционный совет:

АЛЕШКИН П. Ф. — председатель,
КОНОВКО А. В., КУЗЬМИН Г. М., МЕНЬКОВ А. Т., САВЧЕНКО В. В.,
ТИМОФЕЕВ В. В., ФОМИН И. Р., ФОМИНА Л. Р.

Художник РАСТОРГУЕВ Г. Д.

Булгаков М. А.

Б 90 Собрание сочинений в 10 томах. Т. 2. Роковые яйца. — М.: Голос, 1995. — 384 с.

ISBN 5-7117-0306-4 (т. 2)

ISBN 5-7117-0304-8

Второй том Собрания сочинений Михаила Булгакова составили повести, рассказы, фельетоны и очерки, написанные автором в период 1924—1925 (по март) гг.

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус) 6

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

Том 2

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Редактор *С. Фрольцова*. Художественный редактор *В. Савченко*. Технический редактор *Н. Александрова*. Корректоры *В. Сеславинская, М. Поляева*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040020 от 6.07.91

Сдано в набор 07.02.95. Подписано в печать 03.04.95. Формат 84х108¹/32.

Бумага офсетная № 1. Печать высокая. Гарнитура "Таймс".

Усл. печ. л. 20,16. Тираж 20000 экз. Заказ 1357

Издательство «Голос»: 113184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 52, стр. 1

Оригинал-макет изготовлен ТОО «Компания ДЛШ»,
113184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 24, кор. 2, тел. 233-03-38

Отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера»
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

ISBN 5-7117-0306-4 (т. 2)
ISBN 5-7117-0304-8

© Составление. Петелин В. В. 1995
© Оформление. Издательство
«Голос»; 1995

ГОД ПЕРЕМЕН И НАДЕЖД

Кажется, все потихоньку налаживалось в жизни Михаила Булгакова, ничто не предвещало никаких особых неприятностей. Есть дело, за которое он получал деньги на «хлеб», есть возможность ночами работать над любимыми произведениями о недавно пережитом, есть любимые книги, которыми можно наслаждаться опять же по ночам, когда в квартире все уймется. Да и многое из написанного опубликовано. Что еще нужно человеку, который решительно посвятил себя художественному творчеству? Есть, наконец, круг литературных знакомств, в котором не чувствуешь себя одиноко в «чужом» городе. Да и Любовь Евгеньевна Белозерская так быстро вошла в круг его интересов и друзей, что стала просто необходимой ему помощницей и другом. И нет в этом ничего удивительного: прекрасная рассказчица, много повидавшая на своем молодом веку, она стала неотъемлемой частью того круга друзей и знакомых, который образовался к тому времени около Булгакова.

Правда, появились симптомы той болезни, которая так терзала его во Владикавказе: то и дело стали появляться статьи разносные, вульгарные, с какими-то непристойными хулиганскими выходками против серьезных больших писателей, но все это казалось каким-то мальчишеским удалством полуграмотных «деятелей» от литературы и искусства. К тому же хулиганствующим критикам давали отпор солидные и уважаемые писатели, так что здесь-то, в Москве, все будет по-другому, чем в провинциальном Владикавказе. Подлинное в жизни и в литературе сумеет постоять за себя. Но Михаил Булгаков ошибся: то, что произошло во Владикавказе, повторилось и в Москве, и Петрограде, только в еще больших масштабах и с более драматическим финалом...

В марте 1969 года в журнале «Огонек» была опубликована моя статья «М. А. Булгаков и «Дни Турбиных». Вскоре после этого в редакцию журнала «Молодая гвардия», где я работал, позвонила

Любовь Евгеньевна Белозерская и пригласила приехать на Большую Пироговскую: именно здесь, вспомнилось мне, на Большой Пироговской, она прожила вместе с Михаилом Афанасьевичем несколько лет конца 20-х и начала 30-х годов. Пожалуй, это были его самые плодотворные творческие годы. Естественно, что через какое-то время я уже звонил Белозерской. Дверь открыла пожилая женщина, которая с первых же слов вызывала какую-то необъяснимую симпатию. Следы былой красоты и женского обаяния, как сказали бы романисты, все еще были заметны в облике Любови Евгеньевны.

Долго просидел я у нее. Любовь Евгеньевна о многом вспоминала, но меня очень интересовал тогда вопрос, как они познакомились в начале 20-х годов, как молодой Булгаков выглядел, как одевался, что запомнилось ей в литературном быте и нравах того времени...

— Впервые я увидела Булгакова на вечере, который устроила группа писателей «сменовеховцев», недавно вернувшихся из Берлина. В пышном особняке в Денежном переулке выступали Юрий Слезкин, Дмитрий Стонов, мой муж Василевский (Не-Буква)... Среди выступавших был и Михаил Булгаков, который очень много и плодотворно сотрудничал с газетой «Накануне», выходившей, как вы, конечно, знаете, в Берлине, но широко распространенной в России. Слушая выступления Слезкина, я не переставала удивляться: неужели это тот самый петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глазами, с родинкой на щеке на погн-бель дамским сердцам... Вот только рот неприятный, жесткий, чуть лягушачий, что ли. Вы, может, читали его нашумевший роман «Ольга Орг»?

— Да, читал, но, увы, совсем недавно, после того, как прочитал статью Булгакова о творчестве Юрия Слезкина, там очень хорошо говорится об этом романе.

— А интересно, что же там говорится? Я совершенно не помню содержания этой статьи, хотя и знаю, конечно, что они были очень дружны.

— Приблизительно я могу передать содержание этой статьи, к сожалению, мало известной даже специалистам. Статья называется «Юрий Слезкин (Силуэт)», опубликованная в берлинском журнале «Сполохи» в 1922 году, в декабрьском, двенадцатом номере. И начинается она очень по-булгаковски: точно и резко определяет он свою тему и свое отношение к предмету статьи. Какое место отвести Слезкину на литературном Олимпе наших дней? На какую

подку поставить разнокалиберные тома и томики «Помещика Галдина», «Ольгу Орг», «Господина в цилиндре», «Ветер»? — спрашивает он. Казнь египетская всех русских писателей — бесчисленные критики и рецензенты глянули на Ю. Слезкина, почти без исключений, светло и благосклонно. Он сразу заинтересовал, многим сразу понравился. Булгаков дает яркую и точную творческую характеристику своему собрату по перу, своему старшему товарищу...

— А как же все-таки он относится к «Ольге Орг»? Ведь этот роман много раз переиздавался, начиная с пятнадцатого года, и, если память мне не изменяет, по этому произведению был поставлен фильм «Опаленные крылья». Балерина Коралли играла главную роль. Все рыдали... — вспоминала Любовь Евгеньевна.

— Как раз к фильму-то отношение у Булгакова несколько ироничное. Да, говорил он, Юрий Слезкин — словесный киномастер, стремительный и скупой. У него, как и в кино, быстро летят картины, словно вспыхивают и тотчас же гаснут, уступая свое место другим. Как в кино ценен каждый метр ленты, его не истратят даром, так и он не истратит даром ни одной страницы. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что это плохо. Быть может, ни у одного из русских беллетристов нашего времени нет такой выраженной способности обращаться со словом бережно. Юрий Слезкин неизменно скуп и сжат. На его страницах можно найти все, кроме воды. И это очень нравится Булгакову, нравится то, что Слезкин скупко роняет описания, не размазывает нудных страниц. В этом он видит выигрыш художника. Там, где другой не развернул бы и половины своей панорамы, Слезкин открывает всю ее целиком. Вот почему у него обильные происшествия не лезут друг на друга, увязая в болотной тине словоизвержения, а стройной чередой бегут, меняясь и искрясь. Как в ленте кино, складной ленте. Недаром по выходе «Ольги Орг», вспоминает Михаил Афанасьевич, как раз этот роман пронирыливые киношники выпотрошили для экрана. Так и написал, это я запомнил... Лучше бы было, если б Слезкин сам написал сценарий... И вы знаете, Любовь Евгеньевна, все, что Булгаков говорил в этой статье о Слезкине, можно отнести и к самому Булгакову.

— Да, вы правы. Видимо, общность каких-то задач и целей чисто художественных и сблизила их в свое время. Булгаков, как и Юрий Слезкин, был таким же выдумщиком и фантазером. Он всегда любил повторять, что жизнь куда хитрее на выдумки самого хитрого выдумщика. Вся задача лишь в том, чтобы ее оправдать. Исполнил это — хороший фабулист, нет — неудачный выдумщик...

Так вот, я и увидела их рядом на том памятном вечере. Я читала Михаила Булгакова в «Накануне», там ведь и мой муж работал, читала его «Записки на манжетах» и фельетоны. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий язык его, мастерство диалога и на такой его неназойливый юмор. Мне нравилось все, что принадлежало его перу. Вы не помните, в каком фельетоне он мирно беседует со своей женой и речь заходит о голубях? «Голуби — тоже сволочь порядочная», — говорит он.

Нет, я не помнил. (Потом только, перелистывая сборник фельетонов, я обнаружил эту фразу в фельетоне «День нашей жизни», опубликованный действительно в «Накануне» («Литературное приложение», 2 сентября 1923 г.)

— Прямо эпически-гоголевская фраза, — продолжала Любовь Евгеньевна. — Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось... После вечера нас познакомили. Передо мной стоял человек лет тридцати — тридцати двух, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же он походил. И вдруг осенило — на Шалыпина! А вот одет он был далеко не по-шалыпински... Какая-то глухая черная толстовка без пояса, этакой «распашонкой», была на нем. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне комичным слегка, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила «цыплячьими». Только потом, когда мы познакомились поближе, он сказал мне не без горечи: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась...» Тогда я и поняла, что он обидчив и легко раним. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста»... Было это где-то в начале января. Москва только что отпраздновала встречу Нового года, 1924-го... Второй раз я встретила с ним случайно, на улице, уже слегка пригревало солнце, но все еще морозило. Он шел и улыбался. Заметив меня, остановился. Разговорились. Он попросил мой новый адрес и стал часто заходить к моим родственникам Тарновским, где я временно остановилась на житье (как раз в это время я расходилась с моим первым мужем). Глава этой замечательной семьи Евгений Никитич Тарновский, по-домашнему — Дей, был кладезем знаний. Он мог процитировать Вольтера в подлиннике, мог сказать танку, стихотворение в три строки на японском языке. Но он никогда не поучал и ничего не навязывал. Он просто по-настоящему много

знал, и этого было достаточно для его непререкаемого авторитета... Стоило Булгакову и Тарновскому один раз поговорить, и завязалась крепкая дружба. Дей, как и все мы, полностью подпал под обаяние Булгакова...

А вскоре и началась наша совместная жизнь с Михаилом Афанасьевичем. На первых порах нас приютила его сестра, Надежда Афанасьевна Земская, она была директором школы и жила на антресолях здания бывшей гимназии. Получился «терем-теремок», где жили: она сама, муж ее, Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Надежды Афанасьевны Вера. Ждали приезда из Киева младшей сестры Елены Булгаковой. А тут еще появились мы... И знаете, как-то все хорошо устроивалось. Было трудно, но и весело... Потом мы переехали в покосившийся флигелек во дворе дома № 9 по Чистому переулку, раньше он назывался Обухов. Дом свой мы прозвали «голубятней», но этой голубятне повезло: здесь написана пьеса «Дни Турбиных», повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (кстати, посвященное мне). Но все это будет несколько позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете «Гудок», он берет мой маленький чемодан по прозвищу «щенок» (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в «щенке» он приносит письма частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона...

Любовь Евгеньевна показывала книги М. А. Булгакова, подаренные ей с нежными надписями. Показывала «книжки» в единственном экземпляре, в которых много было забавного и шутиwego: рисунки, эпиграммы, дружеские шаржи.

По-новому раскрылись мне после этой встречи некоторые стороны творческой личности Михаила Булгакова. Вот почему об этой встрече и об этом нашем разговоре и захотелось здесь рассказать.

Это был счастливый период жизни Булгакова. Еще ничто не омрачало ее. Булгаков не умел и не желал лукавить, приспособиваться ни в жизни, ни в литературе. Он был на редкость цельным человеком, что, естественно, проявлялось и в его творчестве.

Любовь Евгеньевна напомнила, что как раз в это время в «Гудке» работали Валентин Катаев, Юрий Олеся, Евгений Петров и многие другие, ставшие впоследствии известными писателями. Фельетоны Михаил Афанасьевич писал быстро, и Любовь Евгеньевна спросила меня, помню ли я то место в автобиографии Булгакова, где он рассказывает, как писались эти фельетоны: «...Сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто отнимало у меня,

включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка на машинке, включая сюда и хихикание с машинисткой, — восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось».

Да, это место из автобиографического произведения Булгакова я помнил...

И в 1924, и в 1925 годах Михаил Булгаков писал фельетоны... «Коллекция гнилых фактов», «Праздник с сифилисом», «Просвещение с кровопролитием», «Пустыня Сахара», «Крысиный разговор», «Как школа провалилась в преисподнюю»...

Булгаков беспощадно и гневно обрушивался на пьянство и алкоголизм как одно из вреднейших и разрушительных зол нового общества, мешающих нормальной жизни.

Бытовые нелепости, неурядицы семейной жизни, безделье и невежество, бескультурие и безграмотность и многие другие недостатки строящейся жизни — все это подвергается критическому анализу на страницах «Гудка», в фельетонах М. Булгакова, Ю. Олеши, В. Катаева... Булгаков шутит над мелкими промахами полуграмотных железнодорожников, едко язвит, беспощадно высмеивает бюрократов, формалистов, чиновников советского аппарата. Его смех, то злой, то добродушный, далеко слышен, достигая не только конкретных носителей зла, но и долетая до высоких этажей Власти. Потому и занимался газетной работой Булгаков, что видел в ней очистительную силу, способную хоть немного, хоть чуть-чуть поубавить мусора и грязи в нашей стране.

Булгаков становится особенно безжалостен и беспощаден, когда видит, что сильный, дорвавшийся до власти, угнетает слабого, давно знакомого нам по литературе «маленького человека». Казалось бы, примелькались эти персонажи. Но Булгаков вновь и вновь возвращается к этому столкновению двух социальных сил, потому что за каждым таким столкновением конкретные судьбы конкретных людей.

Пустьяковий вроде бы факт. Тихо, мирно жил десятник на станции ЮЗа Славутского участка, но пришло время, и он женился. При встрече с ним, счастливым молодоженом, заведующий разработкой на участке «спрашивает в служебном тоне, побрякивая цепочкой от часов:

— Как вы смели, уважаемый, жениться без моего ведома?

У меня даже язык отнялся, рассказывает десятник. Помилуйте, что я — крепостной... И мучает раздумье: а если моей жене придет в голову наделить меня потомством в размере одного ребенка — ж

Логинову бежать?.. А если октябрины? А если теща умрет? Имест она право без Логинова?»

«Со слов десятника записал Михаил Б.» и опубликовал фельетон в «Гудке» 12 августа 1924 года под названием «На каком основании десятник женился! (Быт)».

А 29 августа 1924 года в том же «Гудке» опубликован фельетон «Сотрудник с массой, или Свинство по профессиональной линии (рассказ-фотография)». В центре — тоже чиновник невысокого ранга, но какое самомнение сквозит в каждом его слове, в каждом поступке. Сколько чванства и этого «ячества». Его заранее попросили сделать доклад о дорожном строительстве, но он не готовился к этому докладу, пренебрежительно отнесся к массе собравшихся. Да и вообще он-то думал, что его ждет начальство, он даже испытывал что-то вроде беспокойства, когда прилетевшая Дунька, «как буря», сообщила, что его «кличут»; потом, узнав, что его ждет собрание, даже «плюнул с крыльца»: экая досада, что беспокоился. Высказав презрительное отношение к массе, «чтоб ей ни дна, ни покрышки», и пообещав жене, что скоро вернется, «я там прохладиться не буду... с этой массой», товарищ Опишков пошел на собрание. Председатель собрания встал ему навстречу и «нежно улыбнулся». Но Опишков в ответ только пробурчал что-то нечленораздельное. Крайне изумился Опишков, когда узнал, что он должен выступать с докладом на собрании: «Я доклады делаю ежедневно Пе-Че, а чего еще этим?..»

«Председатель густо покраснел, а масса зашевелилась. В задних рядах поднялись головы...»

Несмотря на то, что начал свое сообщение Опишков, выдавливая слова, как тяжелые камни, ворочал. Всем было ясно, что Опишков не хочет делать доклад, считая ниже своего достоинства отчитываться перед массой. И на мягкое замечание председателя собрания, что нужно было подготовиться, раз его просили, Опишков вдруг заорал.

«— Я вам не подчиняюсь!.. Ну вас к Богу!.. Надоели вы мне, и разговаривать я с вами больше не желаю».

«— Вот так свинство учинил! — кто-то крикнул в зале.

Председатель сидел как оплеванный и звонил в колокольчик. И чей-то рабковский голос покрыл гул и звон:

— Вот я ему напишу в «Гудок»! Там ему загнут салазки!! Чтобы на массу не плевал!!»

24 сентября 1924 года Булгаков публикует фельетон «Колыбель начальника станции», в котором клеймит все то же свинство: на общее собрание рабочих и служащих станции Щелухово Казан-

ской дороги не явился докладчик — начальник станции, прислав записку, что «лег спать». И кто-то бросил из зала:

«— Колыбель начальника станции — есть могила общего собрания», так как собрание объявили закрытым.

Да, это был год перемен и надежд... И не все так просто было, как обрисовала мне Любовь Евгеньевна в первые наши встречи... Много лет спустя вышла в свет ее книга «Воспоминания» в издательстве «Художественная литература», в 1990 году, из которой можно узнать интересные подробности переживаний тех лет...

После второй встречи ранней весной 1924 года Булгаков зачастил к Тариовским, ее родственникам, где она временно получила приют после развода с Василевским. Развод давно назревал: слишком разными людьми они оказались, и по характеру, и по интересам. К тому же он был ревнив, а она очень любила жизнь во всех ее проявлениях — путешествия, театр, ухаживания, цветы поклонников... Бывал почти каждый день, настолько увлекся Булгаков обаятельной и талантливой Любашей. Да и Тарновские были очень интересными людьми, особенно Дей, Евгений Никитич, энциклопедически образованный профессор-статистик-криминалист, Надежда, его дочь; ее муж был в длительной командировке, а потому и приютили Любовь Евгеньевну до его возвращения.

Дни ухаживания промелькнули, возникшее чувство с каждым днем укреплялось в сердце помолодевшего Булгакова, начались дни признания... Сначала в шутливой форме... «Уже весна, такая желанная в городе! — вспоминает Л. Е. Белозерская. — Тепло. Мы втроем — Надя, М. А. и я — сидим во дворе под деревом. Он весел, улыбаясь, ведет «сватовство».

— Гадик (так в узком семейном кругу прозвали Надежду. — В. П.), — говорит он. — Вы подумайте только, что ожидает вас в случае благоприятного исхода...

— Лисий салон? — в тои ему говорит она.

— Ну, насчет салопа мы еще посмотрим... А вот ботинки с ушками обеспечены.

— Маловато будто...

— А мы добавим галоши... — Оба смеются. Смеюсь и я. Но выходить замуж мне не хочется.

Сейчас трудно сказать, так это или не так... Столько времени прошло.

Появление в Москве красивой и талантливой женщины не прошло незамеченным. Ю. Л. Слезкин в своих «Записках писателя»

вспоминает: «...Тут у Булгакова пошли «дела семейные» — появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех! К тому времени вернулся из Берлина Василевский (Не-Буква) с женой своей (которой по счету?) Любовью Евгеньевной. Не глупая, практическая женщина, многое испытывавшая на своем веку, оставившая в Германии свою «любовь», — Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах. Наклеивался у нее роман с Потехиным Юрием Михайловичем (ранее вернувшимся из эмиграции) — не вышло, было и со мною сказано несколько теплых слов... Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. С той поры — наша дружба пошла врозь. Нужно было и Мише и Л. Е. начинать «новую жизнь», а следовательно, понадобились новые друзья — не знавшие их прошлого. Встречи наши стали все реже, а вскоре почти совсем прекратились, хотя мы остались по-прежнему на ты...»

Надеюсь, читатель сам поймет, что здесь правда, а что идет от зависти... Нет еще особого успеха в жизни Булгакова-писателя. Вышла только повесть «Дьяволиада» в «Недрах», и он с удовольствием дарит этот сборник своим друзьям. А то, что он покорило сердце Любви Евгеньевны, вот это был для него определенный успех... «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах (М. А. жил близко, на Б. Садовой, в доме 10). Одна особенно душевная беседа, в которой М. А. — наискрытнейший человек — был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться. Легко сказать — пожениться. А жить где?» — вспоминала Л. Е. Белозерская.

И начались поиски квартиры, но не было денег... «Временный приют» предоставила им подруга Надежды, тоже Надежда, у нее оказалась свободной комната брата, уехавшего на практику. Этот «временный приют» запомнился тем, что здесь началась и совместная творческая жизнь двух влюбленных. Как-то пришел «оживленный» Булгаков и предложил своей Любаше вместе написать пьесу «Белая глина». Почему «Белая глина»? «Мопсов из нее делают», — шутливо ответил Булгаков. И творческая работа началась. Любовь Евгеньевна несколько лет прожила во Франции, значит, пьеса должна быть из французской жизни. В богатом имении живут мать и дочь. В их имении обнаружены залежи белой глины. Никто не знает, что с ней делать, но все заинтригованы. От гостей нет отбоя. И каждый мужчина обязательно влюбляется или в мать, или в дочь. Для пущего веселья авторы награждают их необыкновенной

схожестью... Да и одеваются они чуть ли не в одинаковые платья. Вот тут и начинается опереточная кутерьма. Появляется то один персонаж, то другой... Ревнуют, бегают, суетятся... Два действия вскоре были закончены. Мечтали о постановке в театре Корша с участием ведущих артистов Радица и Топоркова. «Два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву). Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал:

— Ну, подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?

Так третьего действия мы и не дописали», — вспоминала Любовь Евгеньевна.

Ну, что ж, пусть и не дописали, но было весело придумывать реплики, перебивать друг друга, придумывая все новые и новые сюжетные ходы и повороты... Эта совместная работа еще больше их сблизила... Тем горше становилось Булгакову, вынужденному уходить в свою «гнусную» комнату в квартире № 50 по Большой Садовой, 10.

Студент, брат хозяйки, возвращался с практики. Нужно было решать главный вопрос — и они зарегистрировались «в каком-то отталкивающем помещении ЗАГСа в Глазовском (ныне ул. Луначарского) переулке, что выходил на церковь Спаса на Могильцах».

Так началась совместная жизнь М. А. Булгакова и Л. Е. Белозерской.

На первых порах их приютила Надежда Афанасьевна, директор школы, там же и обитала вся ее большая семья. «К счастью, было лето и нас устроили в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского...» — это все из тех же «Воспоминаний» Белозерской.

Но лето подходило к концу, школа начинала свою обычную жизнь, в учительской уже нельзя было оставаться, даже на ночь. Нужно было искать надежное пристанище, тем более что Михаил Афанасьевич должен был наконец-то закончить роман «Белая гвардия» и повесть «Роковые яйца, или Луч жизни».

Любовь Евгеньевна, коренная москвичка, вспомнила своих знакомых и близких и надеялась, что хоть кто-нибудь поможет молодоженам найти приличное убежище. Но первый же визит разочаровал ее: крестная мать ее старшей сестры, некогда красавица, была неузнаваема в черном монашеском платке: она похоронила обоих сыновей, с одним из которых маленькая Любаша играла в прятки. Еще одна горькая зарубка на сердце... Нет уж, лучше поло-

житься на случай и на самих себя: старые знакомые, как «бывшие», лишены в новой жизни своих прежних прав, перестав быть хозяевами своих домов, даже своих жизней.

Случайно Булгаковых познакомили с «грустным-грустным чело-
ловеском». Он-то и привел их к арендатору в Обухов переулок, дом
9, где они вскоре начали самостоятельную, независимую жизнь,
полную духовных и литературных исканий, надежд и горьких разо-
чарований.

В эти дни Булгаков, как и всегда, много работает, читает,
пишет, размышляет, ходит по редакциям, в театры.

Все вроде бы кончилось благополучно и можно вздохнуть по-
свободнее, в свободные часы от службы в «Гудке» можно снова за-
няться подлинным. А ведь все могло сложиться по-другому... Тя-
желό было вспоминать, как он и Любовь Евгеньевна искали свое
первое совместное прибежище, квартиры были так дороги, а деше-
вых комнат не было, как не было и денег. Пришлось занять у Евге-
ния Никитича Тарновского... И несколько неловко было вспоми-
нать, как он отчитал Валюна Катаева, когда он признался, что
любит Елену Булгакову и хотел бы на ней жениться. «Нужно иметь
средства, чтобы жениться», — сказал Булгаков на это признание.
А сам? С Татьяной Николаевной, с Тасей, было легко, она самоот-
верженно принимала все удары судьбы и житейские тяготы, помо-
гала ему переносить выпавшие на их долю невзгоды. Да и сейчас
она готова забыть *этом* развод и снова начать с ним новую жизнь.
И по его просьбе делает все, что может для его семьи и его друзей...
Приехала Галя, дочь Сынгаевского, приехала к нему, а у него не на
чем положить ее спать; Татьяна пристроила ее у знакомых на не-
сколько ночей. Что было делать дальше? Выручила сестра Надя,
поговорила с ней по душам, пристроила ее временно в школе, пита-
лась-то у него, а спать уходила в школу: ведь милые друзья из
Киева отправили ее даже без документов. И если бы не Тася и На-
дежда... А перед этим острый приступ аппендицита, пришлось
пойти на операцию, хорошо, что зашел к нему Коля Гладыревский
и уговорил его лечь в клинику профессора Мартынова и сделать
операцию; было страшновато, но, слава Богу, все обошлось, каж-
дый день приходила Любаша, приносила ему еду, но много есть
было нельзя, приходилось ограничивать себя, а так хотелось...

Булгаков вспоминал, как переживал он, находясь в больнице.
Эта неделя показалась ему вечностью; ему казалось, что все рухнет
из-за этой неожиданной для него опасности: ведь в самом разгаре
были его отношения с Любовью Евгеньевной, еще полная неопре-
деленность тяготила его, а тут операция, больничный вид, да и

судьба ненапечатанных сочинений очень волновала его. Взять хотя бы «Записки на манжетах» — как неудачливо складывается их судьба. Удалось напечатать только отрывки, с большими пропусками. Наконец поверил в «Недра», поверил Ангарскому и Петру Никаноровичу Зайцеву, секретарю редакции, оставил полный текст «Записок» и убедительно попросил поскорее выяснить их судьбу, предупредив при этом, что кое-что из предложенной рукописи печаталось в «Накануне» и в альманахе «Возрождение», Николая Семеновича это не должно было смутить... Многострадальческие «Записки» нравились Булгакову своей открытостью и прямотой. Он предложил прочитать их публично, он так здорово прочитал бы их, что судьба «Записок» сразу бы выяснилась, ничего страшного в них нет, так, судьба голодного писателя на юге России, не более того, никакого политического криминала они не содержат... Но и в «Недрах» «Записки на манжетах» не прошли. А Булгаков так надеялся получить за них гонорар и уехать на юг с Любашей... Планы эти тоже рухнули. Какой там юг, приходилось ходить по редакциям и «сшибать» где десятку, где двадцатку, так, на пропитание. Не вышло и с романом «Белая гвардия», И. Лежнев готовился напечатать его в журнале «Россия», но уж слишком мало он платил. Булгаков передал роман в «Недра», пообещавшие «перекупить» роман. Прочитал Зайцев, отозвался о нем восторженно, но стоило ему передать роман на чтение «старичкам» Вересаеву и Ангарскому, как никакого дела не получилось: Вересаев отозвался отрицательно, Ангарский же долго колебался, но печатать роман отказался по цензурным соображениям: не слишком ли положительными выглядели в романе белогвардейцы, недавние враги Советской власти? И осторожность взяла верх, хотя написано несомненно талантливо...

С каким нетерпением он ждал возвращения Зайцева, Ангарского, Вересаева. И как-то в первые дни сентября, узнав о том, что Зайцев вернулся, Булгаков зашел в редакцию. Зайцева не было, сел, дожидаясь, за стол и стал машинально водить ручкой по белому листу бумаги: «Телефон Вересаева? 2-60-28. Но телефон мне не поможет... Туман... Туман... Существует ли загробный мир?

Завтра, может быть, дадут денег...»

Вошел Зайцев. Булгаков выжидающе смотрел на загорелого, отдохнувшего Петра Никаноровича, который ничего утешительного не мог сказать:

— Все читавшие роман в восторге. Талантливый, многообещающий писатель, говорят, но печатать такой роман нельзя: рап-

повцы затравят. «Как он похудел, — мелькнуло у добрейшего Петра Никаноровича. — Видимо, по-прежнему перебивается случайными заработками от журнальчиков Дворца Труда на Солянке, «Гудок» тоже не прокормит... Сильно нуждается такой талантливый человек, как это несправедливо...»

Булгаков, расстроенный до предела сразившей его вестью, снова присел за соседний столик, продолжая бездумно что-то чертить на оставленном было листке. Зайцев взглянул на бумагу: каждая буква фамилии «Вересаев» многократно обведена. Ясно, почему... Пляшущие человечки, автопортрет, в котором угадывается отчаявшийся человек. «Что я скажу Любаше?» — в отчаянии думал в эти минуты Булгаков.

— Михаил Афанасьевич, — неожиданно заговорил Зайцев. — Может, у вас есть что-нибудь еще готовое?

Булгаков посмотрел на Петра Никаноровича, и надежда мелькнула в его глазах.

— Давно задумал я одну фантастическую вещь, она почти готова, недели через две я закончу ее, может, и раньше, недели через полторы. А что?

Зайцев взял со столика лист бумаги и просто сказал:

— Пишите заявление с просьбой выдать сто рублей аванса в счет вашей будущей повести.

Булгаков тут же написал заявление, и обрадованный, все еще не веря в удачу, быстро пошел в бухгалтерию Мосполиграфа. Вернувшись, крепко пожал руку Петра Никаноровича. Теперь две недели он может работать над подлинным...

Но не прошло и недели, как получил письмо от Зайцева, в котором тот торопит его с окончанием повести. Пришлось торопиться и «скомкать», в чем и сам позднее признавался, но изменить уже не мог.

«Однажды он поманил меня пальцем в прихожую: «Хотите послушать любопытный телефонный разговорчик?» — вспоминает сосед Булгаковых В. Левшин. — Он звонит в издательство «Недра»: просит выдать ему (в самый что ни на есть последний раз!) аванс в счет повести «Роковые яйца». Согласия на это, судя по всему, не следует. «Но послушайте, — убеждает он, — повесть закончена. Ее остается только перепечатать... Не верите? Хорошо! Сейчас я вам прочитаю конец».

Он замолкает ненадолго («пошел за рукописью»), потом начинает импровизировать так свободно, такими плавными, мастерски завершенными периодами, будто он и вправду читает тщательно

отделанную рукопись. Не поверить ему может разве что Собакевич!

Через минуту он уже мчится за деньгами. Перед тем как исчезнуть за дверью, высоко поднимает палец, подмигивает: «Будьте благонадежны!»

Между прочим, симпровизированный Булгаковым конец сильно отличается от напечатанного. В «телефонном» варианте повесть заканчивалась грандиозной картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов. В напечатанной редакции удавы, не дойдя до столицы, погибают от внезапных морозов.

Вскоре после своей телефонной мистификации он повез меня на авторское чтение «Роковых яиц» в Большой Гнездниковский переулок, в дом Нирензее...

Чтение происходило, кажется, в квартире писателя Огнева. Здесь — чуть ли не вся литературная Москва. Его слушают стоя, сидя, в коридоре, в соседних комнатах. После читки начинается обсуждение — долгое и преимущественно хвалебное...

В другой раз где-то в переулке на Малой Никитской Булгаков читает главы из «Белой гвардии». Успех громадный.

Читает он, надо сказать, мастерски. Именно читает, а не играет, при том ведь, что прирожденный актер. Богатство интонаций, точный, скупой жест, тонкая ироничность... Домой возвращаемся на извозчике: он, я и незнакомая мне дама. Поздняя зимняя ночь. Сани нудно тащатся по спящим переулкам. Ноги мои совсем оледенели под жидкой извозничьей полостью. У дома Пигит я выхожу. Булгаков едет провожать даму. Напоследок говорит мне вполголоса: «Дома скажите, что я там остался...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 174—176).

Возможно, Булгаков действительно импровизировал по телефону конец повести «Роковые яйца», но возможно, что память изменила Левшину, и он воспользовался ныне известным отзывом Горького о «Роковых яйцах»: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он сделал конец рассказа плохо, — писал он М. Слонимскому 8 мая 1925 года, после выхода повести в свет. — Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!»

Думаю, что Булгаков и сам догадывался о возможностях сюжета, придуманного им. Но в публикацию повести вторгались такие силы, которые невозможно было преодолеть, и прежде всего страх перед цензурой...

В «Недрах» повесть приняли благосклонно, прочитал Зайцев, Вересаев «пришел в полный восторг», как вспоминает Зайцев, Анггарский был в Берлине, так что послали в набор без него...

Но вскоре Анггарский приехал, и Булгаков с горечью записывает 18 октября 1924 года, в субботу: «Я по-прежнему мучаюсь в «Гудке». Сегодня день потратил на то, чтобы получить сто рублей в «Недрах». Большие затруднения с моей повестью-гротеском. Анггарский предложил мест 20, которые надо по цензурным соображениям изменить. Пройдет ли цензуру. В повести испорчен конец, п.ч. писал я ее наспех.

Вечером был в опере Зимина и видел «Севильского цирюльника» в новой постановке. Великолепно. Стены вращаются, бегают мебель».

И действительно театр Зимина стал Экспериментальным. По рецензии в журнале «Новая рампа» (1924, № 18) можно судить, что происходило на сцене в тот вечер: «Постановка от начала до конца динамична. «Человек и вещь» одинаково кружатся в вихре интриги... Глубокоуважаемые столы, кресла, стулья, клавесин — все втянуто в активное участие... Даже стены (первый опыт использования вращающихся ширм-призм) в доме Бартоло вертятся от смеха и удовольствия, раскрываются и закрываются по ходу действия».

Эти сто рублей, полученные в «Недрах», и деньги, взятые «под расписку» у Е. Н. Тарновского, пошли, скорее всего, на аренду комнаты для совместного с Любовью Евгеньевной проживания. В ночь с 20 на 21 декабря Булгаков записывает в дневнике: «...Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности, и 16-й год, и начало 17-го.

Живу я в какой-то совершенно неестественной хибарке, но, как это ни странно, сейчас я чувствую себя несколько более «определенно». Объясняется это...»

Так мы и не узнаем, чем это объясняется, потому что следующая страничка дневника вырвана; но, сопоставив некоторые известные факты из его жизни, можем предположить: кончилось его противоречивое положение, женат на Белозерской, а жить приходилось в одной комнате с Татьяной Николаевной. И все потому, что не было денег на аренду комнаты даже в этой «совершенно неестественной хибарке».

И решил он на этот шаг, скорее всего, потому, что «Недра» заключили с ним договор на издание сборника рассказов и повес-

тей, листов 8—10. В эти дни Булгаков написал письмо И. Кремлеву: «Милый Илья Львович! Я получил предложение, касающееся моей книги фельетонов. Поэтому очень прошу Вас вернуть мне рукопись, независимо от результатов редакторской оценки. Пришлите мне рукопись в Москву как можно скорее (у меня нет 2-го экземпляра). Москва, Обухов (Чистый) пер., дом 9, кв. 4. Михаил Афанасьевич Булгаков.

Ваши книги у меня в целости. Я их Вам верну на днях».

Переезд из 34-й квартиры по Большой Садовой, 10, в квартиру 4 по Обухову переулку, 9, прошел вроде бы безболезненно и просто. «Однажды в конце ноября, то ли до именин своих, то ли сразу после, Миша попил утром чаю, сказал: «Если достану подводу, сегодня от тебя уйду». Потом через несколько часов возвращается: «Я пришел с подводой, хочу взять вещи». — «Ты уходишь?» — «Да, уйду насовсем. Помоги мне сложить книжки». Я помогла. Отдала ему все, что он хотел взять. Да у нас тогда и не было почти ничего... Потом еще мадам Манасевич (мать В. Левшина. — *В. П.*), наша квартирная хозяйка, говорила мне: «Как же вы его так отпустили? И даже не плакали!» Вообще в нашем доме потом долго не верили, что мы разошлись — никаких скандалов не было, как же так?... Но мне, конечно, долго было очень тяжело. Помню, я все время лежала, со мной происходило что-то странное — мне казалось, что у меня как-то разросся лоб, уходит куда-то далеко-далеко... Ну вот, а на другой день, вечером, пришел Катаев с бутылкой шампанского — в этот день должна была прийти сестра Михаила Леля, он за ней ухаживал. Тут звонок. Я думала — Леля. А это пришел Михаил, с Юлей Саянской. Сидели все вместе. Не помню уж, пили это шампанское или нет», — так много лет спустя рассказывала Татьяна Николаевна М. Чудаковой о тех тяжелых для нее днях.

И это как раз в то время, которое она так долго ждала: принят роман «Белая гвардия», прочитана и сдана корректура первой части романа, в производстве повесть «Роковые яйца», готовится к сдаче в набор первая книга повестей и рассказов... Для сборника «Писатели» написал «Автобиографию»: «... В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.

В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.

Не при свете свечи, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлин-

ское издательство «Накануне», обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен. Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде.

Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей.

Но роман, повесть, книжка — все это еще впереди, а пока он продолжает работать в «Гудке», писать фельетоны...

«Увертюра Шопена», «Колыбель начальника станции», «Не свыше», «Рассказ про Поджилкина и крупу», «Библифетчик», «По голому делу»...

Если раньше Булгаков с наслаждением высмеивал невежество, чванство, бескультурие, неграмотность и другие человеческие пороки, то сейчас он, продолжая писать разоблачительные фельетоны, уже не испытывает того возбуждения, которое должен испытывать фельетонист. Не раз он признается в дневнике, что работа в «Гудке» его тяготит, потому что фельетоны его начинают мельчать, утрачивая свою обобщенность, как раньше, работает над ними как бы нехотя, из-под «палки»: он должен в месяц написать несколько фельетонов, обязательных, по заданию редакции.

Вот передали ему письмо рабкора, до поры до времени оно лежит спокойно на столе Булгакова, но появляется в «Известиях» статья наркома здравоохранения Н. А. Семашко с резким осуждением голых мужчин и женщин, которые разгуливают по Москве с лозунгами «Долой стыд!» на ленте через плечо, пытаются даже входить в трамвай в столь испорченном виде: «подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения», с гигиенической, с нравственной, никакой в этом «революционности» нет, одна глупость, «поэтому я считаю абсолютно необходимым немедленно прекратить это безобразие, если нужно, то репрессивными мерами». В редакции, конечно, читают статью Семашко, выводы газеты. И, естественно, редактор «четвертой полосы» «Гудка» призывает Булгакова откликнуться на «злобу» дня. Булгаков тянет с исполнением заказа. Пока лишь записывает в дневнике: «12 сентября. Пятница. Яркий солнечный день. Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась»...

И только 11 октября 1924 года Булгаков откликнулся на письмо тов. Пивня, который спрашивал редакцию: действительно ли в Москве появились голые люди и правда ли, что они собираются приехать на станцию Гудермес С.-К. ж. д. с поездом № 12 в

18 часов... На станции, хоть их и осуждают, но посмотреть на них собрались чуть ли не все жители.

Ответ Булгакова был предельно кратким: «Сообщите гудермсам, что поступки голых надо понимать, как глупые поступки.

Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции.

А теперь «общество» ликвидировалось по двум причинам: во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз.

Так что никого не ждите, голые не приедут. Ваш М. Б.»

И это после «Дьяволиады», «Роковых яиц», романа «Белая гвардия»?

Или «Проглоченный поезд», «Стенка на стенку», «Новый способ распространения книги», «Смутливый матерщинник», «Рассказ рабкора про лишних людей», «Под мухой»... Фиксация каких-то печальных фактов действительности — пьянства, невежества, безграмотности — и назидательный вывод: «Дорогой Шурка! Видите, какой про вас начали рассказ. Сидя здесь, в Москве, находясь вдалеке от вас и не зная вашего адреса, даю вам печатный совет: исправьтесь, пока не поздно, а то иначе вас высадят и с той низшей должности, на которую вас перевели» («Гибель Шурки-уполномоченного», 16 ноября).

Все те же легкие, насыщенные диалоги, меткие характеристики, точный, богатый язык... Но где ж тут появиться писательскому воображению? А его тянуло к созданию вымышленного мира, где автор становится господином и действующих лиц, и событий, с ними происходящих, как в «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах», как в «Похождениях Чичикова» и «Ханском огне»...

«Ханский огонь», с каким удовольствием он работал над этой коротенькой повестью.

А ведь все началось необычно просто... Выдалась у всех сотрудников «четвертой полосы» свободная минутка и по обыкновению о чем-то заспорили, о современных поэтах и прозаиках, о современном международном положении, о своих учителях и кумирах... Чаще всего вспоминали О'Генри как образец рассказчика и новеллиста, которого читать всегда интересно, потому что так остроумно завяжет интригу, что только в конце читатель узнает результаты, чаще всего неожиданные. В. П. Катаев, признанный рассказчик и новеллист, начавший печатать рассказы с 1914 года, строго осудил всех современных рассказчиков: «Пишут плохо, скучно, никакой выдумки. Прочитаешь два первых абзаца, а дальше можно не

читать. Развязка разгадана. Рассказ просматривается насквозь до последней точки».

И разгорелся с новой силой спор. Бранили современных писателей, рассказывали невыдуманные истории, которые поражали своей простотой и необъяснимой с точки зрения здравого смысла фантастикой.

— Вспоминаю один эпизод из жизни нашего уезда, поразивший своей неправдоподобностью, о чем до сих пор толкуют мои земляки... Года три-четыре тому назад, когда в крестьянстве было сильное брожение и порой они чувствовали себя полными хозяевами в уезде, жгли помещичьи усадьбы, растаскивали утварь, мебель, уводили скот, но редко этот грабеж приносил кому-нибудь радость, — все собравшиеся со вниманием слушали заведующего «четвертой полосы» И. Овчинникова, — никто не мог понять другого... Один богатый мужик, нажившийся во время гражданской войны, неожиданно для всех собственноручно спалил свой хутор, зарезал пять племенных баранов и, пьяный, пришел с косой на конюшню резать сухожилия жеребцам-производителям. Тут голубчика и сцапали его же бывшие конюхи.

— Мужик-то ладно, допился до белой горячки, вот и спалил, это бывает, особенно в то время... А я видел незадолго до февральской революции, как сгорел помещичий дом со всем содержанием, — медленно заговорил Булгаков. — Вот что было страшно и совершенно необъяснимо... Говорили, что по неосторожности сторожа... Но уже чувствовалось в округе настроение мужичков, особенно тех, кто пришел с фронта, раненые, обозленные, они уже тогда вышли из подчинения всяким властям, зло косились на богатый помещичий дом с его обитателями, я был знаком с сыновьями помещика, чудесные люди, тихие, умные, один из них служил врачом, как и я, а другой — председателем уездной земской управы. Горел большой помещичий дом, видно пожар было всей округе... Ликовали и радовались только ваши Платоны Каратаевы, ваш народ-богоносец...

Последние фразы Булгакова слышал и только что вошедший Юрий Олеша. Все присутствовавшие сразу почувствовали, что опоздавший был «несколько навеселе», какая уж тут работа, посыпались шутки, остроумные и хлесткие, по адресу собрата по перу. Юрий Олеша отвечал тем же. Посыпались каламбуры по адресу всех присутствовавших.

Наконец Юрия Олешу водрузили на стол и потребовали от него мгновенных стихотворных импровизаций на злободневные темы... Эпиграммы на присутствовавших так и сыпались.

— А почему ты Булгакова обходишь?! — крикнул кто-то.

— Давай на Булгакова!

Олеша задумался, потом, пробормотав вроде бы про себя несколько слов, уверенно проговорил:

Булгаков Миша ждет совета...
Скажу, на сей поднявшись трон:
Приятна белая манжета,
Когда ты сам не бел нутром!..

Опытные журналисты сразу почувствовали недоброе и заявили протест против явной провокации, «предательского намека», «скрытого доноса и самого наглого вызова», потребовав от Булгакова ответа тоже в стихах-экспромте... Булгаков растерялся, такого он не ожидал от того, кто клялся не раз ему в любви и дружеских чувствах, а тут явное предательство, хоть и в шуточной форме.

— Так требуете от меня ответа?! Хорошо! В детстве и юности я тоже баловался стихами, попробую...

По части рифмы ты, брат, дока,

— начал Булгаков.

Скажу Олеше-подлецу...
Но путь... но стиль... но роль.

Кто-то возражает против «подлеца», «дикий рев голосов» поддерживает: «Подлецу — долой!»

Булгаков соглашается с публикой: ладно, переделаем... И вновь начал декламировать:

По части рифмы ты, брат, дока, —
Скажу я шулки сей творцу,
Но роль доносчика Видока
Олеше явно не к лицу!..

Все собравшиеся вдруг почувствовали себя неловко: эти шулки, эти перепалки до добра не доведут... И быстро стали расходиться.

Вдогонку расходившимся Олеша начал просить извинения у Михаила Афанасьевича: «Я, кажется, малость загнул?»

Но неприятный осадок на душе все же остался...

И. Овчинников от нечего делать сидел за своим столом и записывал эти импровизации, «куски и варианты возникающих стихов, колонки рифм, подсказы и замечания слушателей».

«Живые» эти записи валялись у меня в нижнем ящике стола вместе с другими такими же ненужными бумагами, — вспоминал

И. Овчинников. — Но случился какой-то переезд. Ящики столов пришлось освобождать. И тут, вместо того чтобы выбросить заметки в мусорную корзину, я выбрал их и наскоро, так сказать, «ко-дифицировал», свел, как сумел.

Твердо знаю одно: сама вольная, веселая атмосфера сеансов показана достаточно правдоподобно...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 131—144).

Рассказанное И. Овчинниковым и свои собственные воспоминания о барской усадьбе Муравишники, где он бывал в 1916—1917 годах, посещение барских усадеб в Архангельском и Кускове — все это как-то слилось в одно стремление написать интересное, захватывающее повествование, чтобы по завязке не развязали все действие, чтобы по первым строчкам не догадались о последних, как у О'Генри.

«Антонов огонь» — так первоначально назвал повесть Булгаков. И действие происходило во время революции, когда почти все было непредсказуемо. Так что ничего вроде бы удивительного и не было в деревне: мужики никому не подчиняются, помещик сбежал, оставив имение на произвол мужикам и дворне. Все растащили и разорили. И когда у водовоза Архипа началась гангрена — антонов огонь, то даже лошади не оказались в усадьбе, чтобы послать за врачом. А ночью вернулся хозяин, князь Антон, и поджег усадьбу. Вот этот пожар и есть «Антонов огонь», о котором до последней строчки никто не догадывается, сосредоточив свое внимание на «антоновом огне» водовоза Архипа. Но этот замысел не удовлетворил Булгакова. И он еще не раз, по обыкновению своему, переделывал повесть, доводя ее до того уровня, когда он оставался доволен: на эти произведения он не жалел времени, это было подлинным...

Первоначальный замысел Булгаков оставил потому, что не оказалось «мостика» в современность, а так хотелось показать не только трагедию, но и зло посмеяться над современностью, над теми, кого он так хлестко высмеивал на страницах «Накануне» и «Гудка».

И прежде всего привлекают внимание три образа — старика Ионы Васильевича, преданного и верного слуги князей Тугай-Бег-Ордынских; Семена Ивановича Антонова, прозванного Ионом Голым, и князя Антона Иоанновича, приехавшего из-за границы, чтобы посмотреть на свою усадьбу-дворец и взять нужные ему документы, хранившиеся в кабинете. Особенно удачен образ Ионы...

Ничто вроде не предвещает трагического развития сюжета. Правда, заболела руководительница-экскурсовод, пришлось старику Ионе Васильевичу принимать гостей в приемный день. Да,

Цезарь завыл среди бела дня, быть беде, собаки воют к покойнику. Не впервой ему принимать посетителей, проведет по всем комнатам и залам, покажет портреты, расскажет все, что ему известно о князьях... Только вот как бы не украли чашки, картины-то не украдешь, видно будет, а чашки... «Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам...» Дуняша присмотрит, пообещала больная руководительница. Так в сопровождении уборщицы Дуньки и повел старый камердинер Иона экскурсантов по дворцу. Все прошло бы, как обычно, молодые юноши и девушки, разношерстной толпой проходили по залам, удивлялись, спрашивали, он рассказывал, что знал. Но на этот раз все складывалось неудачно: среди приехавших оказался «немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голених узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрал голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и борода подстрижена, как у образованного человека...» Да и Цезарь на голого залалял... Иона сразу же определил свое отношение к вою собаки: «Ежели кто померет, то уж пушай этот голый». Так и обходили они дворец, препираясь, не скрывая взаимной антипатии: голый все время показывал свою «образованность», а Иона то и дело вступался за своих князей, которым он прислуживал всю жизнь и от которых ничего плохого не получал. Обратил он внимание и на «пожилого богатого господина-иностранца, в золотых очках колесами, широко светлом пальто, с тростью», но не признал в нем своего князя Антона, ослабел глазами да и князь переменялся за столько-то лет разлуки.

Князь все слышал, что говорил «Голый»... А когда вошел в свой кабинет и узнал, что написал в своей тетради о князьях Александр Абрамович Эртус «из комитета», то сердце его вскипело от ненависти ко всем этим временщикам... Иона испытывал «боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели».

Князь Антон бескомпромиссен: это хорошо, что дворец цел, что его охраняют, водят экскурсии, но этого Эртуса он повесит «вон на той липе», «а рядышком — вон того голого»: «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если он не подойдет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе... Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?» Князь готов был убить голого за его оскорбления, но сдержался потому, что у него была цель — взять в кабинете очень важные для него документы. А револьвер был, характер горячий, но сдержался, нашел в себе силы... Может, и не стал бы он поджигать дворец, если б не эти негодяи — Эртус и Голый. Взял бы документы и скрылся, «незабытыми тайными тропами нырнул» бы «во тьму». Но не разум, а слепая ярость руководила его последними во дворце поступками, и он с наслаждением поджег сначала рукопись Эртуса, потом княжескую постель, на которой спали его предки и которая вызывала всегда сальные насмешки у новых хозяев жизни: «По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому». Этого князь не мог простить... «Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус». И только тогда, когда загорелась княжеская постель, сказал себе: «Теперь надежно».

Мало кто в Париже в это время надеялся на возвращение на Родину триумфатором. Побывав на Родине, понял это и князь — вешать Эртуса и Голого на Красной площади ему не придется. Так пропади все пропадом, в том числе и все надежды...

Этим повествованием Булгаков был доволен, особенно образом Ионы Васильевича, да и Голый получился отвратительным, чего и добивался он, хотя это впечатление удалось передать читателю ненавязчиво, объективными средствами художественного слова.

Наконец-то опубликован рассказ «Богема»... Так и не удалось напечатать целиком «Записки на манжетах», пришлось это повествование о житье-бытье во Владикавказе и поездке в Тифлис давать как самостоятельный рассказ, хотя, конечно, было бы лучше, если б он продолжал «Записки на манжетах». Но приходилось смиряться, приспосабливаться к литературной ситуации... Хорошо, что литературой руководили все еще разные по своим вкусам и обычаям люди: то, что не нравилось одному редактору, неожиданно приводило в восторг другого. Как же этим не воспользоваться, не меняя в сущности главного... Так и в «Богеме»: как написано, так и опубликовано, лишь долго пришлось искать этот журнал «Крас-

ная инва», хоть бы не закрылся, как многие журналы, не успев понастоящему заявить о себе.

В «Дневнике» 4 января 1925 года Булгаков записал: «...Сегодня вышла «Богема» в «Красной инве» № 1. Это мой первый выход в специфически-советской топкой журнальной клоаке. Эту вещь я сегодня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило страшно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Уж очень мы тогда призывали к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка («отрывок» из «Записок на манжетах». — В. П.), кажется впервые с знаменитой осени 1921 г. позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике, — написан отрывок совершенно на «ять», за исключением одной, двух фраз («Было обидно и др.»).

И вообще «Дневник» — богатый источник для подлинной реконструкции творческой биографии М. А. Булгакова; после его публикации глубже понимаешь его характер, образ мыслей, ход его размышлений; по этим записям, хоть и беглым, но достаточно откровенным, лучше понимаешь его отношения с писателями, близкими, друзьями, знакомыми, которые не остаются неизменными, раз и навсегда зафиксированными. За эти три-четыре года можно проследить значительную эволюцию его взглядов и взаимоотношений с разными лицами, с которыми он общается.

Особый интерес представляют записи, выражающие его отношение к «Накауну» и сменовеховцам, приехавшим из Берлина в Москву. Ночью 27 августа 1923 года Булгаков записывает, что присутствовал на лекции профессора Ключникова, Алексея Толстого, Бобрисцева-Пушкина и Василевского — Не-Буква. «В театре Зимины было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой говорил о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева.

Книжки до сих пор нет.

«Гудок» изводит, не дает писать».

В воскресенье, 2 сентября, следует запись: «...Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому. Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями.

Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.

Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой го-

ворил о том, что надо основать школу. Он стал даже немного теплым.

— Поклянемся, глядя на луну...

Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны.

Среди моих хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, присяду».

На следующий день, в понедельник, 3 сентября, Булгаков продолжает все те же темы: «После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло.

Я каждый день ухожу на службу в этот свой «Гудок» и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.

Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает. Без проклятого пойла — пива не обходится ни один день. И сейчас я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Калменсом и, конечно, хромым «капитаном», который возле графа стал как тень...

Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война».

9 сентября, воскресенье, еще одна важная запись: «Сегодня опять я ездил на дачу к Толстому и читал у него свой рассказ. Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет.

Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 рублей и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллион у Толстого (предложила его жена)».

«26 октября. Пятница. Вечер.

Я нездоров, и нездоровье мое неприятное, потому что оно может вынудить меня лечь. А это в данный момент может повредить мне в «Гудке». Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетенное.

Сегодня я пришел в «Гудок» рано. Днем лежал...

Интересно: Соколов-Микитов подтвердил мое предположение о том, что Ал. Дроздов — мерзавец. Однажды он в шутку позвонил Дроздову по телефону, сказал, что он Марков-2-й, что у него есть средства на газету и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Дроздова в «Накануне». Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительно сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели свет ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.

Но мужества во мне теперь больше. О, гораздо больше, чем в 21-м году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее...»

Мелькают дни, мелькают события, Булгаков интересуется внешней и внутренней политикой правящей партии, порой иронически, порой саркастически описывает происходящее на его глазах. Мало утешительного и мало надежд на улучшение его положения в обществе. Человек с его взглядами, независимыми и неподкупными, может оказаться в безнадежном положении. Вот почему он тоскливо смотрит в свое будущее, а тут еще привязалась болезнь: опухоль за ухом, дважды ее оперировали, доктор уверяет, что это не злокачественная опухоль, но предчувствие неблагополучия пугает его. Тем более что рухнули надежды на издание «Записок на манжетах» в издательстве «Накануне»; часто приходится выслушивать отказы напечатать тот или иной фельетон, уж не говоря о повестях, которые у него уже созрели в голове; как дальше работать, если «наглейший Фурман», представитель газеты «Заря Востока», потерял два его фельетона и отказывается ему заплатить за них; как дальше существовать, если приходится чуть ли не каждый день ходить по редакциям и предлагать свои фельетоны: забракует в одной редакции, несет в другую, и так каждый день он бегаёт в поисках средств к существованию, где выпросит десятку, где двадцатку под расписку, под ручательство, что отработает, напишет фельетон или очерк... «Кошмарное существование» продолжалось почти весь 1924 год... То возникают надежды напечатать роман, то ру-

шатся эти надежды; то пообещают напечатать «Роковые яйца», то откажут или выбросят 20 лучших мест из повести...

Но Булгаков не сдается. «Лучше смерть, чем позор!» — кричит герой его повести, бросаясь с десятого этажа вниз.

А в это время приехавшие «накануньевцы» полностью, с «потрохами», продались верховным властям, продались, лишь бы оказаться в почете у власть имущих... И. М. Василевский, бывший муж Любови Евгеньевны, затеял издание серии «Вожди и деятели революции», но самое удивительное — Яков Бломкин, левый эсер, убийца Мирбаха, будет писать книгу «Дзержинский»; «старый, убежденный погромщик, антисемит пишет хвалебную книжку о Володарском, называя его «защитником свободы печати». Немеет человеческий ум»... Булгакову претит вот эта, неразборчивая в средствах достичь какого-то комфорта, приехавшая эмигрантская интеллигенция. Булгаков остро ощущает, как эти вернувшиеся «страшно слабеют», не привыкшие, как он, к погоне за куском хлеба, сразу начинают заигрывать с властями, терять чутье и чувство собственного достоинства... Бобрищев-Пушкин взялся написать книгу о Володарском... «Трудно не сойти с ума, — записывает Булгаков 23 декабря 1924 года. — Впрочем, у старой лисы большее чутье, чем у Василевского. Это объясняется разностью крови. Он ухитрился спрятать свою фамилию не за одним псевдонимом, а сразу за двумя. Старая проститутка ходит по Тверской все время в предчувствии облавы. Этой — ходить плохо... Все они (бывшие «накануньевцы». — В. П.) настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде... Какие бы ни сложились в ней комбинации — Бобрищев погибнет... Василевский же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил:

— Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов. Грязный, бесчестный шут.

Василевский же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:

— Моя мать была блядь...»

Конечно, Алексей Толстой в шутку мог что-то подобное сказать, он любил розыгрыши, любил что-нибудь «отмочить», вполне возможно, что «фрамоментный» (старчески расслабленный. — В. П.) мог принять эту шутку всерьез и всерьез же передать ее Булгакову, бескомпромиссному и беспощадному к самому себе и к другим. Но ясно и другое, что позиция Алексея Толстого, склонного к компромиссам, отвергается Булгаковым как неприемлемая для него — писателя.

Характерен в этом отношении случай, который произошел на вечере у Ангарского. Как обычно в писательской среде, и здесь зашел разговор о цензуре, говорили разное, но чаще всего нападали на нее, говорили о писательской правде и лжи. В разговоре принимали участие В. Вересаев, Н. Никандров, В. Кириллов, Н. Ляшко, В. Львов-Рогачевский... Булгаков знал, что в такой разношерстной аудитории не следует ему выступать и говорить то, что думает о цензуре, но не сдержался и пожаловался на цензуру, которая снимает у него то фельетоны, то целые куски из повестей: так трудно работать, трудно быть самим собой. Н. Ляшко, пролетарский писатель, не скрывая раздражения, возражал Булгакову, не понимая, почему нужно изображать полную правду: «Нужно давать чересполосицу»... Когда же Булгаков сказал, что нынешняя эпоха — это «эпоха свинства», Ляшко с ненавистью возразил ему:

— Чепуху вы говорите...

«Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, — записывает Булгаков 26 декабря 1924 года, в ночь на 27-е, — потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения... Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести «Роковые яйца». Говорит, что страшно понравилось и (кто-то в Берлине, в каком-то издательстве) ее будут переводить.

Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос — беллетрист ли я?»

Этот вопрос мучает его постоянно; порой, в минуты «нездоровья и одиночества», предаваясь «печальным и завистливым мыслям», он горько рассказывает, что бросил медицину и обрек себя «на неверное существование». Но главная причина в том, что любовь к литературе непреодолима в нем, и только этим он может заниматься. И угнетенное расположение духа сменяется у него ликованием, как только он видит опубликованным из того подлинного, заветного, которым он так дорожит. В последние дни 1924 года он, как обычно, «десяток раз», проходил по Кузнецкому мосту и случайно увидел 4-й номер «России»: «Там — первая часть моей «Белой гвардии», т. е. не первая часть, а первая треть. Не удержался и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер». И тут же, конечно, начал листать страницы журнала, еще пахнувшие типографской краской. Какое это наслаждение! Забыты все муки творчества, все тревоги, связанные с публикацией, таилась в глубине души только неуверенность, будут ли его читать... «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему-то

привлекло мое внимание посвящение. Так свершилось. Вот моя жена», — записывает в дневнике Булгаков «в ночь на 28 декабря».

Роман Булгаков посвятил Любови Евгеньевне Белозерской. И сейчас, рассматривая посвящение, Булгаков поморщился, явно недовольный поспешностью посвящения: почему «Белозерской»? А не Булгаковой? И он с наслаждением зачеркнул «Белозерской» и вписал — «Булгаковой».

Часов до четырех проговорили Михаил Александрович и Любовь Евгеньевна... Так уж сложилось, что почти каждую ночь они не спали до трех-четырёх часов. Булгаков называет установившийся порядок «дурацким обиходом», но ничего поделать не мог. Вставали поздно, в 12, «а иногда и в два».

Булгаков написал роман при Татьяне Николаевне, а заканчивал уже при Любови Евгеньевне. Ей и достались лавры победительницы... И неудивительно, Булгаков с каждым днем чувствовал, что все больше и больше влюбляется в свою жену, удивляется ее способности так быстро и уютно устроиться в быту, не уставал смотреть, как она ходит, говорит, иной раз и мелькнет мыслишка-вопрос: «При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно, для меня»... И тут же признается: «Не для дневника, не для опубликования: подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня... Сегодня видел, как она переодевалась перед уходом к Никитиной, жадно смотрел. Политических новостей нет, нет. Взамен их политические мысли.

Как заноза сидит все это сменовеховство (я при чем?) и то, что чертова баба завязила меня, как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык», — записывал Булгаков в дневнике.

И не только привык, но и почувствовал, что Любовь Евгеньевна способна хорошо устроить его издательские дела: рукопись романа «Белая гвардия» сдала в издательство Сабашникова, но Лежнев тоже хотел издать роман, который он печатал в журнале. «Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать неудобно и неприятно. В долгу сидим, как в шелку», — записывает Булгаков 29 декабря 1924 года. Но Лежнев все-таки уговорил Булгаковых, и в начале 1925 года выработали договор на продолжение «Белой гвардии» в журнале и в издательстве. Пришлось пойти на этот договор, потому что «денег у нас с ней не было ни копейки». Но на следующий же день пообещал дать 300 рублей. «Забавный случай: у меня не было денег на

трамвай, а потому я решил из «Гудка» пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулунне в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал «доколе, Господи», — как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парাপета, и я. Удалось уйти у постаменту Александру. (Сам памятник Александру II был снесен сразу же после Октябрьского переворота. — В.П.)

Приведу еще несколько записей, которые весьма органично вписываются в самохарактеристику Булгакова. Вернемся на несколько дней назад:

В ночь с 20 на 21 декабря.

«Опять я забросил дневник. И это к большому сожалению, потому что за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно, — раскол в партии, вызванный книгой Троцкого «Уроки Октября», дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого — затишье.

Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдалась. Троцкого съели, и больше ничего.

Анекдот:

— Лев Давидыч, как ваше здоровье?

— Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет. (Намек на бюллетень о его здоровье, составленный в совершенно смехотворных тонах)...

Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, «Водоканал» сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.

Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву.

Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская, канце-

лярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы.

Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена.

Во всем так. Литература ужасна...

23 декабря, вторник. (Ночь на 24-е.)

«Сегодня по новому стилю 23, значит, завтра Сочельник. У Храма Христа продаются зеленые елки. Сегодня я вышел из дома очень поздно, около двух часов дня, во-первых, мы с женой спали, как обычно, очень долго. (Напоминаю: живут Булгаков с Любовью Евгеньевной уже в Обуховом переулке. — В. П.) Разбудил нас в половине первого Василевский, который приехал из Петербурга. Пришлось опять отпустить их вдвоем по делам... Последнюю запись в дневнике я диктовал моей жене и окончил запись шуточно (Видимо, эту часть записи за 21 декабря Булгаков позднее вырвал. — В. П.)...

На службе меня очень беспокоили, и часа три я провел безнадежно (у меня сняли фельетон). Все накопление сил. Я должен был еще заехать в некоторые места, но не заехал, потому что остался почти до пяти часов в «Гудке», причем Р.О.Л., при Ароне, при Потоцком и кто-то еще был, держал речь обычную и заданную мне — о том, каким должен быть «Гудок». Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдерживать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо Р.О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал...

Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О., одновременно — вагон, в котором я ехал не туда, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот...»

(См.: «Театр», 1990, № 2, с. 144—155. Публикация Г. Файмана.)

Вот это — «доколе, Господи» — о сидящих в Кремле правителях часто возникает в мыслях Булгакова. Разум повелевает ему не высказываться вслух о своих тайных раздумьях, но сердце порой не выдерживает всего того кошмарного, что происходит на его глазах, и он говорит больше, чем следует, но промолчать не в силах. Особенно его раздражают смеиовсеховцы, приехавшие из Берлина и осевшие в Москве. То, что они говорят, он не может слу-

шать без ярости, а в дневнике отводит душу, называя их: «Веселые берлинские бляди»...

В эти дни Булгаков бывает в «Зеленой лампе», на вечерах у Леонова, Петра Никаноровича Зайцева, на «Никитинских субботниках»... Читает главы «Белой гвардии», но чаще всего главы повести «Роковые яйца». Присутствующие на этих чтениях по-разному воспринимают произведения Булгакова — одни одобряют, другие «морщатся», и Булгаков обращает внимание на малейшие проявления чувств слушателей. Он опасается за «Белую гвардию», как бы роман не потерпел «фiasco». Этот роман ему нравится, «черт его знает почему».

«Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а отсюда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда не выпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30 и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.

Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». Очень помогает мне от этих мыслей моя жена...

Эти «Никитинские субботники» — затхлая, советская, рабская рвань».

А через несколько дней еще одна очень важная запись, точно передающая его настроение этого периода: «Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».

Наконец в феврале 1925 года вышел альманах «Недра», № 6, с повестью «Роковые яйца»... Казалось бы, все тревоги — позади...

В «Роковых яйцах» Булгаков столкнул две силы — тупость, темноту, невежество, воплощенные в образе Александра Семеновича Рокка, и гениальную прозорливость в образе ученого Владимира Ипатьевича Персикова, опередившего свое время. Он забежал вперед, сделал гениальное открытие, а люди оказались не подготовленными к такому открытию. Конфликт между этими двумя типами эпохи привел к трагическому концу, потому что уж слишком противоположны были они по своей сути, а неумолимая действительность заставила их участвовать в одном и том же научном эксперименте. Персиков — воплощение ума, интеллекта, культуры. Увлеченный своей работой, он далек от политики: «слишком далек от жизни — он ею не интересовался». «Газет профессор не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тено-

ром оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания: «Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них». Но профессор мало имел себе равных в области земноводных или голых гадов, читал на четырех языках, кроме русского; словом, Персиков Булгакова — это ученый широкой эрудиции, исключительной преданности своему делу, человек замечательного ума и огромной творческой фантазии.

Если Персиков страшно далек от жизни, то Александр Семенович Рокк — сама жизнь: он участвовал в революции, много сделал для утверждения новой действительности. Его беда, однако, в том, что время словно прошло над ним, не коснувшись его. Даже Персиков, кабинетный ученый, и то дивится его старомодности. Время диктует свои законы, и человек, не совсем лишенный интеллекта, подчиняется велениям временн, но вот Александр Рокк с 1919 года ничуть не изменился, остался верен и аскетическому наряду, и прямолинейным представлениям времен военного коммунизма. Он застыл в своей данности. Даже самая отсталая часть пролетариата — пекаря — как полушутливо замечает автор, уже ходили в пиджаках, а на Рокке «была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный, старой конструкции пистолет-маузер в желтой битой кобуре». «Лицо вошедшего произвело на Персикова то же, что и на всех — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями».

Булгаков безжалостными красками создает образ самоуверенного человека, впервые, в кабинете профессора, увидевшего столько книг и смутившегося при виде странного, но величественного ученого. Искры почтения пробились у Рокка через невозмутимую маску. И дальше конфликт развивается как столкновение разных по своей природе людей, как столкновение разума и невежества. Булгаков обратился, как мы видим, к одной из самых злободневных проблем и попытался ответить: отчего же так получается, что за глупость и невежество одних должны расплачиваться или нести ответственность люди, ни в чем не повинные, люди, которые, напротив, предупреждали об опасности, старались вселить сомнения в самоуверенные души тех, кто взялся не за свое дело. Трагедия случилась из-за того, что Рокк занялся не своим делом. До революции он играл в оркестре одного из кинотеатров. Но революция круто изменила его жизнь, его судьбу: Рокк «бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер».

А потом отважно принялся за научные эксперименты, явно ничего в этом не смысла, что привело к трагическим последствиям.

После первого же взгляда Персикову было ясно, что перед ним совершенно невежественный человек, а потом, узнав причину появления в своей лаборатории Рокка, пришел в ярость: оказывается, высшие инстанции дали ему разрешение на невероятный эксперимент — выводить кур с помощью открытого Персиковым «луча жизни». Персикову совершенно ясно, что Рокку нельзя доверять сложную аппаратуру, требующую навыков, опыта, элементарной научной подготовки. Персиков старался уговорить «верхи» отказаться от этого эксперимента, предупреждал, что он «черт знает что наделает», категорически протестовал, не давал «своей санкции на опыты с яйцами», он еще сам не завершил опыты, но все было тщетно. Осталось Персикову только одно — умыть руки. Не может же он в конечном счете отвечать за дело, в исходе которого у него нет уверенности: нельзя было верить первым удачным экспериментам, нужны были еще десятки, сотни экспериментов, необходимых для серьезного научно обоснованного вывода.

И началось все с бытового недоразумения. «Вечная кутерьма, вечное безобразие», «какое-то неописуемое безобразие», в результате которого перепутали адреса с яйцами: профессору вместо зменных грусами везли «эти проклятые куриные яйца», а Рокку вместо груды куриных привезли только три ящика яиц. Конечно, это у Рокка вызвало недоумение. Ведь он за месяц хотел возродить куриное хозяйство республики, а тут всего лишь три ящика... Но захлопотался, сомнение не удержалось в его голове. И все пошло своим чередом.

Бушующий от ярости профессор, у которого все было готово «для каких-то таинственных и опаснейших опытов» («лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы...»), но у него не было змеиных яиц, которых он ждет уже два месяца, и благодушный Рокк, спокойный в своей самоуверенности, ничуть не подозревающий в своей наивности, что дело, от которого он столько ждет, неумолимо ведет его к гибельной катастрофе — вот два полюса в развитии сюжетных перипетий.

Стремительно развиваются события, и как различни люди, которые занимаются в сущности одним и тем же делом: готовятся испытать «луч жизни» на яйцах. Персиков тщательно готовится к проведению опытов, наглухо закрыты двери, опробованы скафандры, проверено действие газа на обыкновенных жабах («Пустишь струйку — мгновенно умирают»). Доцент Иванов советует Персикову обратиться в ГПУ и попросить у них электрический ре-

вольвер, который «бьет бесшумно и наповал». Все готово, все предусмотрено, обо всем есть договоренность: ведь предстоит сложнейший опыт. Но вот досада: нет нужных яиц.

У Рокка тоже идет работа, установили камеры в оранжерее, получили яйца. Три ящика несколько удивили, но работа закипела: «Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружелюбный характер». В опыте принимал участие сам Рокк, его жена Маня, бывший садовник бывших Шереметевых, охранитель и уборщица Дуня. Сладостное благоговение испытывают все эти новооявленные экспериментаторы при виде яиц огромных размеров. Рокк радуется: «Заграница... Разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры». Только на мгновение задумался Рокк, не понимая, почему яйца оказались грязными. По телефону он сообщил профессору, что яйца «в грязюке какой-то», спрашивал нужно ли их мыть. Мог ли профессор предполагать, что по ошибке Рокку попали не «курьи» яйца, а яйца земноводных и голых гадов, которые вот уже два месяца ждет он сам для своих опытов. И то, что Рокк принял за «грязюку», было естественной окраской их.

Только спустя несколько дней, когда события уже принимали трагический оборот, профессор получил «свой» заказ, но то опять были куриные яйца: «Они ваш заказ на змеинные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке», — разрешил загадку Иванов.

А в это время в районе Смоленска творилось «что-то чудовищное»: Рокк вывел змей вместо кур, а эти змеи дали такую же самую «феноменальную кладку, как лягушки». Змеи двинулись на Москву. Ничто не могло их остановить. Гибель грозила всему государству. Притихла Москва. Началась безумная паника. Людям нужно было понять все происходящее. Найти причину страшной катастрофы, которая стремительно и неумолимо надвигалась на Москву. Все кончилось тем, что яростная толпа растерзала профессора Персикова, «мирового злодея», посчитав его причиной всех своих бед и несчастий.

Столкновение невежества и гения закончилось в пользу ординарности, не способной к открытиям. И, когда уходят гении, начинается будничная, обыкновенная жизнь.

В критической литературе Персикову повезло... Прототипами его называют разных ученых, от всемирно известных Тимирязева и Павлова до мало кому известного профессора Тарновского, статистика-криминалиста, с которым Булгаков познакомился благодаря Любови Евгеньевне, она-то и называет его прототипом Персикова. Кроме того, называют известного патологоанатома Абри-

косова, ученого Северцова, «московским биологом профессором А. Г. Гурвичем сделано изумительное открытие...»

А в марте 1925 года Булгаков закончил третью повесть, над которой давно работал, а записал ее в январе—марте... Вот что его беспокоит... Пожалуй, эта повесть была особенно дорогой Булгакову, потому что ему не приходилось сдерживать фантазию, а успех первых двух только окрылял его вдохновение. Но успех ли? Вскоре появились отзывы в печати... Ничего хорошего критики не сулили Булгакову. Так и получилось на самом деле.

Это издание стало возможным благодаря Светлане Викторовне КУЗЬМИНОЙ и Вадиму Павловичу НИЗОВУ, молодым и талантливым руководителям Замоскворецкого филиала ФИНИСТ БАНКА, благодаря директору производственно-коммерческого предприятия «РЕГИТОН» Вячеславу Евграфовичу ГРУЗИНОВУ, благодаря председателю Совета ПРОМСТРОЙБАНКА, президенту корпорации «РАДИОКОМПЛЕКС» Владимиру Ивановичу ШИМКО и председателю правления ПРОМСТРОЙБАНКА Якову Николаевичу ДУБЕНЕЦКОМУ, благодаря генеральному директору АО «ИММ» Михаилу Владимировичу БАРИНОВУ, оказавшим материальную помощь и финансовую поддержку издательству «ГОЛОС», отважно взявшемуся за это уникальное издание.

Виктор ПЕТЕЛИН

ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Молчаливая обычно станция «Мелкие Дребезги» Энской советской дороги загудела, как муравейник, в который мальчишка воткнул палку. Железнодорожники кучами собирались у громадного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечатано:

ОНА ЕДЕТ!!!

— Кто едет?! — изнывали железнодорожники, громоздясь друг на друга.

— Кооперативная лавка-вагон!! — отвечала афиша.

— Го-го, здорово! — шумели железнодорожники.

И на следующий день она приехала.

Она оказалась длинным товарным вагоном, испещренным лозунгами, надписями и изречениями:

Нигде, кроме как в нашем торговом доме!

Сони, Маши и Наташи, летите в лавку нашу!

Железнодорожник! Зачем тебе высасываться в лавке частного паука.

Когда ты можешь попасть к нам?!

— Ги-ги, здорово! — восхищались транспортники. — Паук — это наш Митрофан Иванович.

Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из своей лавчонки.

Транспортная кооперация путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию.

Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам.

— Понять ни черта нельзя, — говорил рыжебородый Гусев, — но видно, что умная штука.

— Каждый, кто докажет документом, что он член, получает скидку в 83¹/₂ %, — гласил плакат, — все не члены получают такую же!!

В кассе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспортники стояли в хвосте и брали заимообразно совзнаками и червонцами.

А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать.

Три приказчика извивались, кассирша кричала: «Сдачи нет!», и пер станционный народ штурмом.

— Три фунтика колбаски позвольте, стосковались по колбаске. У паука Митрофана Ивановича гнилая.

— Колбаски-с нет. Вся вышла-с. Могу предложить вместо колбаски омары в маринаде.

— Амары? А почему?

— Три пятьдесят-с.

— Чего три?!

— Известно-с — рубля.

— Банка?!

— Банка-с.

— А как же скидка? Я член...

— Вижу-с. Со скидкой три пятьдесят, а так они шесть двадцать.

— А почему они воняют?

— Заграничные-с.

— Прошу не напирать!

— Ремней в данный момент не имеется, могу предложить взамен патентованные брюкодержатели «Дуплекс» — лондонские с автоматическими пуговицами «Пли». 7 руб. 25 коп. Купившим сразу дюжину дополнительная скидка — 15%. Виноват, гражданин, он на талию надевается.

— Батюшки, лопнул!!

— Уплатите в кассу 7 р. 25 к.

— Ситцу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань лионская, крупными букетами. Незаменяема для обивки мебели.

— Хи-хи. У нас и небели-то нету.

— Жаль-с. Могу предложить стулья «комфорт» складные для пикников...

— А вам что, мадам?

— Я не мадам, — ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду.

— Пардон, чем могу?

— Мне бы ситцу бабе в подарок.

— Миль пардон, ситец вышел. Для подарка вашей почтенной супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым усом.

— А где ж у него рукава?

— Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами, возьмите пижаму. Незаменимая вещь в морских путешествиях.

— Нам по морям не путешествовать. Нет уж, позвольте корсетик. Вещица прочная.

— Будьте покойны, пульей не прострелишь. Номер размера вашей супруги?

— У нас по простоте, не нумерованная, — ответил стыдливо Гусев, — известно, серость...

— Пардон, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно?

Гусев подумал:

— Никак нет. Двумя, ежели у кого руки длинные...

— Гм. Это порядочный размер. Супруге вашей диета необходима. Так мы предложим вам № 130, для тучных специально.

— Хорошо, — согласился покладистый Гусев.

— 11 р. 27 коп... Что кроме?

Кроме Гусев купил бритвенное зеркало «Жокей-клуб», показывающее с одной стороны человека увеличенным, а с другой стороны уменьшенным. Просил мыла, а предложили русско-швейцарский сыр. Гусев отказался за неимением средств и, подкрепившись у Митрофана Ивановича самогоном, явился к супруге.

— Показывай, что купил, пьяница? — спросила Гусева супруга.

— Вишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта нету, — пояснил Гусев, вскрывая сверток, — говорят, тучная ты № 130.

— Ах они охальники! (супруга всплеснула руками). Что они, мерили меня, что ли? И ты хорош: про жену такие слова!

Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула великанская физия с обвисшими щеками и волосами, толстыми, как нитки.

Супруга повернула зеркало другой стороной и увидела самое себя с головой, маленькой, как чернильница.

— Это я такая? № 130?! — спросила супруга, багровея.

— Тучная ты, Ма... — пискнул Гусев, присел, но не успел закрыться. Супруга махнула корсетом и съездила его по уху так, что шелк лопнул и китовый ус вонзился ему в глаз.

Через две минуты Гусев, растопылив ноги, сидел у входа в свое жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему кооперативную лавку.

Гусев погрозил ей кулаком.

Встал и направился к Митрофану Ивановичу.

Михаил Б.

«Гудок», 23 марта 1924 г.



БЕЛОБРЫСОВА КНИЖКА

Формат записной

5 ч и с л а

№ билета не забыть. 50.897.013. Кузину литературу и поехать в район...

...День-то, день... Да уж это день! День, братцы мои. Утром позвонили, в полдень телеграмма. Сон Шехерезады, товарищи! Оценили Белобрысова. Вспомнили! Шел к нему в кабинет и думаю — я или не я? Встал он, брючки подтянул, говорит — оправдайте доверие наше, товарищ Белобрысов, а равно и беспартийные массы в размере 150 миллионов. Стою — плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет... чепуха... я помню день, ах, это было, я помню день, ах, это было...

Кругобанка директором!! Понимэ ву? Кругосветных операций банка директором. Эх, мама, покойница, не в смысле семейного быта и пережитков говорю, Боже сохрани, — в смысле того, что вот, старуха, родила Белобрысова сына республике. И сам не понимаю, что говорю. Поймите, что, может, сажу, как болван, здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма: Белобрысова Семена Кругобанка... Эх, гори, сияй, моя звезда!..

Между листами расписка Моспочтамта:

Куда: Одесса.

Кому: Якову Белобрысову.

Слов: 16.

6 ч и с л а

Швейцар... К машине выходил... Говорю — сам я. Сам... Помилуйте, товарищ. Не понимаю, где делают такие стекла? 3 сажени. На-а... Да-а... 4 аппарата (6-89-05, не забыть) и какой-то с белыми цифрами. По 8-му повертел и пришел —

честь имею рекомендоваться — заведующий отделом австралийских корреспондентов. Спрашиваю и сам не знаю, почему... я помню день... а, говорю, с Малайскими у нас как островами? Конечно, отвечает и сам улыбается. Кругосвет! Улыбка открытая и золотые зубы. Вот только одеты все! Все острые носы. Ногу поджимаю, потому что латка у меня и хром. Смешно, конечно... Мне, как марксисту, на латку плевать, но спрашиваю, где, мол, ботинки вы покупаете? Вместо ответа берет 6-89-05 (не забыть) и спрашивает: ваш номер позвольте узнать, товарищ директор? Я и бухнул — домсоветский! Коммутатор, говорю, 78-50-50, добавочный 102. Улыбнулся. № ботинок, говорит, Семен Яковлевич? Какой там номер! Получил, говорю, в райкоопе. Он в телефон: пришлите выбор — дюжину лакзамша, каблук рантованный, те, что я беру. Ошалел я, спрашиваю — простите, может быть, это неудобно? Улыбнулся. Помилуйте, говорит, Семен Яковлевич, вам по магазинам разве будет время ходить. От парового отопления веет, а в Севообороте в шубе сидел у окна. Эх!

...В сущности... нога, как в вате... Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить...

Батюшки! Брат Яша с женой одесским семь пятнадцать приехал. Получил братуля телеграмму и прилетел. Радости было!.. Семь лет не видались. Остается в Москве. Я рад. Он у меня, братан, — молодец, по коммерческой части. Будет с кем посоветоваться. Эх, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение... Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки, борода черная — веером. Жена красавица. Волосы, как золото. Хохоту было! Теснота у нас в доме. У меня две комнатухи — повернуться негде. А она-то! Манто котиковое... серьги бриллиантовые. Немножко я даже смутился. Она шмыг, шмыг по коридору, быстрая, в серьгах, а у нас бирюки ответственные... косятся... Пустяки. Они беспартийные...

Между листами.

Черновик телеграммы.

Одесса юрисконсульту Югокофе.

Прошу взыскание векселям Якова Белобрысова приостановить семь дней.

Диркругбанка Белобрысов...

...Хохотал. Да они, говорит, на карачках, чудак ты, ползут. Да я им, говорит, сукиным сынам, теперь загну са-
лазки. Они мне петлю на шею накиннули! Американец у меня
братуха оказался единоутробный, а я и не знал.

9 ч и с л а

Боже мой! Что было! Ай да братуха американ! Два раза
был монтер домовый и со станции... Оборвали телефон!

Между листами.

В ы р е з к а и з г а з е т ы «И з в е с т и я».

Срочно требуется квартира не далее кольца «А», 6—8
комнат ванной, удобствами. Платой не стесняюсь. Вношу
единовременно 1000 (тысяча) червонцев... Указавшему сто.
Звонить круглые сутки 78-50-50 добав. 102. Як. Бело-ову.
Лично, от 10 час. утра до 12 часов ночи.

...Что ж он делает?! Предлагали борзых собак. Спра-
шиваю, зачем марксисту борзые собаки? Страусовые
перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне!
К концу дня осатанел... На лестнице стояли! Скандал!
Журил братишку. Оттуда звонили? Ого! Яша хохотал: при
чем тут ты? «Як» ведь. На мое имя! Наши ответственные,
как туча...

1 4 ч и с л а

Господи! Муни-то, Руни-то! Квартир, говорили, нету.
Вот тебе и нету. Ничего подобного не видал — в центре
жилая площадь с лепными потолками...

1 5 ч и с л а

Черт его знает... Боюсь... Да понимает же он?.. Братун-
то!

Между листами.

На машинке обрывок: О выдаче ссуды в размере 10.000
(десяти тысяч) рублей золотом кооптовариществу «Домо-
строй» в составе Капустина, Гопцера, Дрицера и Як. Белоб-
рысова...

...Целовала, целовала, называла фрэр¹!.. Кричала — Яша
не ревнив... Отвернись! Яша на тахте, играл на гитаре — что
мне до шумного света, что нам друзья и враги! Да, он прав в
конце концов. Если мне не отдыхать, с ума сойдешь.

¹ братом (от фр. frere).

...Машину к 11-ти. Яша говорит, что на такой машине только свистунам ездить. Рол-Ройс, говорит, приличная. Ну, эта пока...

1 7 ч и с л а

Яша на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40-50-60. Франко — Гамбург.

В книге выдрано 15 листов.

... ч и с л а

Не согласна. Только в церкви... Венчались тайком. Голова моя идет кругом! Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах! Шампанское... Боже... В соседней комнате она сейчас переодевается... Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели. Что Яша-братусик учинил — уму непостижимо! Да плевать я, говорит, хотел! 50 червонцев шваркнул за зеркало! Да если, говорит, завтра у меня пройдет Иваново-Вознесенская благополучно, да я, говорит, этого метрдотеля в «Дюрс» утоплю!!

Две гитары за стеной... Переодевается она теперь, ногти-то... Яша на столе плясал фокстрот... снял с жены махры Востока юбки... Это ужас!.. Две гитары... две гитары...

...За стеной переодевается...

1 ч и с л а

60-05-50. По счету, если Яша не вывернет Иваново-Вознесенска, не знаю, как быть. 60-08-80-11-15, 16-15-14. Две гитары...

...Хожу, как в бреду... Две гитары... Яша сказал, что ты, говорит, ее должен, как королеву, одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова... Ей, говорит, кольцо... Сам ездил на Кузнецкий, купил... 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет!

2 ч и с л а

Сукин сын Яшка, лопнул с Иваново-Вознесенском.

4 ч и с л а

Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор... Две гитары... Не спал всю ночь...

7 ч и с л а

Просили прибыть... в районе доклад важный «Штурм унд Дранг» в условиях нэпа». В-важность! У меня тут свой Дранг — голова идет кругом!

...Б-боже. Насело Югокофе, как банный лист. Я эту мразь, текущего заведующего, убил бы на месте! Позвать его!!

9 ч и с л а

Исусе Христе! Яшка-гадость пал в ноги и признался — «Домострой» лопнул! Чисто!.. Угрожал застрелиться и выл. Содом — Гоморра! Две гитары... Содом!

1 2 ч и с л а

Срочно менять на черной. Гопцер-Дрицер пропал.

1 3 ч и с л а

Взяли ночью. Взяли в 2 ¹/₂ часа пополуночи.

Выдрано 3 листа.

... ч и с л а

...ах ты, жизнь моя, жизнь... Сегодня у следователя не выдержал, сказал Яшке — ты не брат, а подколотная стерва! Яшка: бей, говорит, бей меня!.. Ползал по полу, даже следователь удивлялся змее...

...Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть...

...Гори, моя звезда!.. Я помню день... Лучше б я... Эх... И ночь... Луна... И на штыке у часового горит полночная луна.

«Накануне», 26 марта 1924 г.



ПРОСВЕЩЕНИЕ С КРОВОПРОЛИТИЕМ

Посвящается заведующему жел.-дор. школой ст. Агрыз Моск.-Каз.

Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития!

М. Е. Салтыков-Щедрин

Чьи-то сапоги с громом покатались по лестнице, и уборщица школы Фетинья не убереглась, божья старушка! Выскочила Ванькина голова с лестницы и ударила божью старушку сзади. Села старушка наземь, и хлынула из ведер вода.

— Чтоб ты околел! — захныкала старушка. — Что ты, взбесился, окаянный?!

— Взбесишься тут, — задыхаясь, ответил Ванька, — еле убер! Вставай, старушка...

— Что, аль сам?

— Чай, слышишь?

Из школы неся рев, как будто взбунтовался тигр:

— Дайте мне сюда эту каналью!!! Подать его мне, и я его зарежу, как цыпленка!!! А-а!!

— Тебя?

— Угу, — ответил Ванька, вытирая пот, — с доски не стер во втором классе.

— Подать мне Ваньку-сторожа живого или мертвого!! — гремело школьное здание. — Я из него сделаю бифштекс!!

— Ванька! Ванька!! Ванька!! К заведующему!! — вопили ученические голоса.

— Черта пухлого я пойду! — хрипнул Ванька и стрельнул через двор. Во мгновение ока он вознесся по лестнице на сеновал и исчез в слуховом окне.

Здание на мгновение стихло, но потом громовой хищный бас взвыл вновь:

— Подать мне учителя географии!! И-и!!

— Г-и! Ги-ги!! — загремело эхо в здании.

— Географ засыпался... — восхищенно пискнул дискант в коридоре.

Учитель географии, бледный как смерть, ворвался в физико-географический кабинет и застыл.

— Эт-та шта так-кое? — спросил его заведующий таким голосом, что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги.

— Карта ресефесересесесесе... — ответил географ прыгающими губами.

— М-молчать!! — взревел заведующий и заплясал, топая ногами. — Молчать, когда с вами начальство разговаривает!.. Это карта?.. Это карта, я вас спрашиваю?! Поч-чему она не на мольберте?! Почему Волга на ней какая-то кривая?! Почему Ленинград не Петроград?! На каком основании Черное море — голубое?! Почему у вас вчера змея издохла?! Кто, я вас спрашиваю, налил чернил в аквариум!

— Это ученик Фисухин, — предал Фисухина мертвый преподаватель, — он змею валерьяновыми каплями напоил. Стекла в окнах дрогнули от рева.

— А-га-га! Фисухин! Дать мне Фисухина, и я его четвертую!!

— Фису-у-у-хин!! — стонало здание.

— Братцы, не выдавайте, — плакал Фисухин, сидя одетым в уборной, — братцы, не выйду, хоть дверь ломайте...

— Выходи, Фисуха! Что ж делать... Вылезай! Лучше ты один погибнешь, чем мы все, — молили его ученики.

— Здесь?!! — загремело возле уборной.

— Тут, — застонали ученики, — забронировался.

— А! А!.. Забронировался... Ломай!.. Двери!! Дать мне сюда багры!! Позвать дворников!! Вынуть Фисухина из уборной!!!

Страшные удары топоров посыпались в здании градом, и в ответ им взвился тонкий вопль Фисухина.

М. Ол. Райт.

«Гудок», 29 марта 1924 г.



БУРНАКОВСКИЙ ПЛЕМЯННИК

Появлению его в доме предшествовала некая легенда, состоящая из двух частей!

Часть первая: Дядя Бурнаков получил ответственный пост.

Часть вторая: Ваську — брата бурнаковского племянника посадили в тюрьму.

Затем наступил антракт довольно длительный, во время которого грозный образ бурнаковского племянника расплывался, и вы начинали питать легкомысленную надежду, что, может быть, это только так... пустяки... может быть, минует чаша... и не будет, не будет бурнаковского племянника.

ПЕРВЫЙ ГРОЗНЫЙ ПРЕДВЕСТНИК

Курцман, занимавший комнату номер 7, через две комнаты от нашей, нашел на Тверской-Ямской две комнаты с кухней, и въездная плата.

— Сколько?..

— Десять червонцев.

— Десять?.. Де-сять?..

В глазах у вас зеленеет.

— Что же вы мне не сказали?.. Боже мой! Господи!

— Я ж не знал, что вам нужно...

— Ах ты, Господи!.. Что вы говорите?.. Что вы такое говорите! Где вы видели, дя-дя, такого человека, которому не нужны две комнаты с кухней на Тверской-Ямской? Где? Может быть, и ванна есть?

— И ванна...

— А-а-а-а!..

— Что же вы так убиваетесь?

— А-оставьте меня! А-оставьте!

ВТОРОЙ ГРОЗНЫЙ ПРЕДВЕСТНИК

Дядю Бурнакова видели входящим в квартиру председателя правления дома.

ЗЛОВЕЩИЙ РАЗГОВОР

Лестница. Действующие лица.

В ы. «Ответственный съемщик квартиры» (бывший «квартхоз»).

В ы. Н-не может быть.

С ъ е м щ и к. Верно вам говорю. Вселят. В курцмановскую комнату. *(Пауза, вздох.)* Ну, теперича держись. Такая сволочь, такая сволочь.

В ы *(расслабленно)*. Неужели ничего нельзя сделать?

С ъ е м щ и к *(уныло)*. Что же вы сделаете. У него дядя... *(шепот)*.

В ы. Но почему же к нам?

С ъ е м щ и к. Такая уж, видно, наша судьба...

НАЧАЛО СОБЫТИЙ

Он появился. Его видели. Легенда: он был в домовом правлении и участвовал в разговоре.

СТЕНОГРАММА РАЗГОВОРА

Бурнаковский племянник. Што? Курцман уже вытряхнулся?

Председатель правления *(заискивающе)*. Он послезавтра выезжает

(угощает папирсой).

П л е м я н н и к. Пущай скорей, а то я его сам вышибу.

Дальнейшее не стенографировано, но по отрывкам и устным передачам можно питать злое подозрение, что бурнаковский племянник антисемит.

СВЕРШИЛОСЬ

Он въехал. Первый подвиг уже совершил он. Именно он без стука вошел в комнату модистки Анюты со словами: «нет ли папиросочки», в тот момент, когда Анюта была голая.

Ну, совершенно голая бабочка, в чем мать родила. На вопрос Анюты, стащившей с постели одеяло и соорудившей на скорую руку римскую тогу: «Чтой-то вы? Рази ж можно так делать?» — ответил улыбаясь:

— Ну, что там. Что мы, буржуи-интеллигенты, чай, в одной квартире живем.

В кухне вечером был совет семи женщин. Резолюция: бурнаковский племянник — негодяй, ежели съемщик не уймет, жаловаться самому Кирпичеву.

Видение: тень бурнаковского племянника прошла по коридору, нагло улыбаясь и будто бы со словами:

— Ах, дуры бабы. Чего сбесились.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

1. Ночью на новоселье играли в карты у бурнаковского племянника, причем Хлюзина бурнаковский племянник обыграл на четыре червонца. Хлюзин плакал и гонялся с ножом за бурнаковским племянником.

2. В гостях у племянника был дядя, сам Бурнаков, и побил жену.

3. Племянник устроил танцы, причем внизу рухнула штукатурка. Когда снизу пришли, бурнаковский племянник пригрозил, что пожалуется в Ге-пе-у.

4. У Аксины колдовским образом пропал примус Бур-

наковский племянник угрожал в коридоре стереть с лица земли каждого, кто в связи со словом «примус» упомянет его имя или же имя его брата Володьки.

ЛИЦО ПЛЕМЯННИКА НА ЭКРАНЕ

Глаза необыкновенные — одновременно испуганные и наглые. Волосы стоят ежом, черные, как на сапожной щетке. Лицо вдребезги потертое, бледное. 22 года. Расстегнутый френч, расхлыстанный ворот.

ДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

5. Аксиныин примус нашелся в кладовке сломанный. Это чудо! Как он туда попал?

6. Кошмар! Кошмар! Слух — племянник обольстил секретаря домовой ячейки и хочет войти во фракцию. Съемщик рвал на себе волосы, кричал у себя в комнате: «Мы пропали».

7. Племянник сделал предложение Аняте. Когда та отказалась, вышел из ее комнаты, напевая:

— Ладно-с. Ладно-с. Вот мы еще посмотрим, по каким таким документам вы проживаете. Нашей фракции таких не нужно.

8. Съемщик просил племянника не играть в квартире на гармонии после 2-х часов ночи.

ОТВЕЧЕНО

— Ты мне не бузи. У нас пианинов нету. А тебя давно собираюсь попереть из съемщиков.

ВЕНЕЦ УЖАСА

О-о! Прошел слух, что Володьку — племянникова брата — выпустили из тюрьмы. Съемщик ходил по комна-

там и собирал деньги на замок для парадной двери и говорил: «Теперь посматривайте».

Бурнаковский племянник объявил, что Володька жить будет в его комнате. Все кончено.

НЕБЕСНОЕ ПРАВОСУДИЕ

Слух, а затем несомненная правда.

1. Дядю Бурнакова вычистили.

2. Дядя лишился ответственного поста. А затем слухи еще более грозные:

а) Дядю отдают под суд.

б) Дядя был всем и стал ничем.

ПЛЕМЯННИК ВПАДАЕТ В НИЧТОЖЕСТВО

Съемщик, встретив бурнаковского племянника, сказал ему:

— Вы — наглец. Хуже вас никого нету в доме.

И бурнаковский племянник ничего не ответил.

КОНЕЦ

Бурнаковский племянник выехал из дому, ибо его затравили. Из фракции его вышибли.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Это конец этому странному фельетону, но это не все, что я хотел сказать.

Публика, читающая вообще, читает плохо, не вдумываясь. Ей кажется, что фельетонные герои — это так... чепуха... Напрасно, напрасно. Бурнаковский племянник — тип, столь же прочный, как и бессмертные типы Н. В. Гоголя. И представьте, таких бурнаковских племянников в Москве не менее 8 тысяч.

По самой скромной статистике.

Шиберов-валютчиков уже выселили из Москвы. Правда, пока еще не всех. Тысячи три.

Вот ежели бы вслед за ними попросили и племянников, бесподобно бы было. Истинный Бог.

«Бакинский рабочий», 30 марта 1924 г.

Под заглавием «Московский Вавилон» перепечатан в книге: Михаил Булгаков, «Забывтое», Мюнхен, 1983.

Затем в книге: М. А. Булгаков. Повести. Рассказы. Фельетоны. Москва, Советский писатель, 1988.

Под заглавием «Московский Вавилон» — в книге: Михаил Булгаков. Похождения Чичикова. Современник, 1990.

Публикуется по тексту газеты «Бакинский рабочий».



ЗОЛОТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Из моей коллекции

ПРЕДИСЛОВИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Когда описываешь советский быт, товарищи писатели земли русской, а в особенности заграничной, не нужно никогда врать. Чтобы не врать, лучше всего пользоваться подлинными документами. Таких документов (писем рабочих-корреспондентов из советской провинции) благодаря любезности знакомых у меня накопилось до 200 штук. Некоторые из них я привожу полностью, в точности сохраняя стиль.

I

БРАНДМЕЙСТЕР ПОЖАРОВ

Покорнейше Вас прошу, товарищ литератор, нашего брендмейстера пожара (фамилия с малой буквы. — М. Б.) описать покрасивее с рисунком.

Был у нас на станции Н. Балтийской советской брендмейстер гражданин Пожаров. Вот это был пожаров, так знаменитый пожаров, чистой воды Геркулес, наш брендмейстер храбрый.

Первым долгом налетел брендмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах, так что наши железнодорожники, товарищи — граждане, братья — сестрицы вымерзли как киты.

Налетал Пожаров в каске как рыцарь среднего века на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта бой семь заседаний, не хуже Перекопа. Насчет клуба загнали месткомские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал

Пожаров с факелами, совершенно изничтожил печную идею, почему покрылся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым и прекратилось население в библиотеке отныне и во веки. Аминь. Аминь. Просвещайся где хочешь!

И еще не очень-то доказал гражданин брандмейстер свою преданность Октябрю! Когда годовщина произошла, то он, что сделает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками. И пожарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому и ввиду пожара, мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек!

Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. Х. подмосковную. Поздравляем Вас братцы подмосковники, будете вы иметь! Было жизни пожарной у нас ровно два месяца и настала полная тишина с морозом на северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи.

Фамилию мою не ставьте, а прямо напечатайте Иван Магнит, поязвительнее сделайте его.

П р и м е ч а н и е:

Милый Магнит, язвительнее, чем Вы сами сделали Вашего брандмейстера, я сделать не умею.

II

КРОКОДИЛ ИВАНОВИЧ

У нас на заводе, по милости нашего знаменитого дурака заводского Гаврюшкина, случилась невероятная история. Родили одновременно 13-го и 14-го числа две пролетарских работницы жена истопника Ивана Морозова и Семена Волдырева. И наш завком предложил устроить младенцам октябрины, дабы вырвать их из рук попов и мракобесия, назвав их революционными именами Октября.

В назначенный час зал нашего клуба имени Коминтерна заполнился ликующими работницами и работниками. И тут

Гаврюшкин, известный неразвитием, но якобы сочувствующий, завладел вне очереди словом и громко предложил морозовскому сыну-ребенку имя:

— Крокодил.

И мгновенно указанный младенец на руках у плачущих матерей скончался.

Отсталые старческие элементы женщин подняли суеверный крик, и вторая мать бросилась к поселковому попу, и тот, конечно, воспользовавшись невежеством, младенца со злорадством окрестил во Владимира.

Наша заводская женщина-врач Шпринц-Шухова при кликах собрания объяснила, что помер младенец от непреодолимой кишечной болезни, как бы его ни назвали и уже был больной с 39 градусами, но темные бабы все разрушили, а Гаврюшкину угрожали жизнью. Не говоря уже, что разнесли по всем деревням слухи и пропаганду хитрого попа и никто более октябриться не несет.

И подпись сделайте псевдоним «Сознательный».

П р и м е ч а н и е: «Крокодил» — юмористический московский журнал, хорошо известный рабочим даже в глухой провинции.

III

В НОГУ

Прошение трактирщика,
направленное в Н-й уездный исполком

...Прошу согласно действующим законам о разрешении открыть на площади Карла Либкнехта пивную-чайную под названием «Красный Алеша-ша».

П р и м е ч а н и е: Разрешили ли — мне неизвестно.

IV

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Спасибо нашему ПЭЗЭ! Побывали наши рабочие на спектакле! Человек двести ушли без юбок в крови, а кто и без штанов. Получил наш ПЭЗЭ циркуляр — огородить театр

от станционных сараев и ночью поставить столбы, а за день работы окутал колючей проволокой весь театр кругом и один лаз в дверь оставил в аршин. Станционные знали, а поселковые нет, и с ребятами и семьями со всех сторон пришли и напоролись как полк ночью, луны не было. Всю одежду рвало со страшными криками и руки и лица и ватные ценные пальто. Был ужас, и даже не состоялся спектакль, и было предложено убить этого ПЭЗЭ.

П р и м е ч а н и е: ПЭЗЭ — железнодорожное сокращение П.З. — зритель зданий.

Москва, март 1924

«Накануне», 6 апреля 1924 г.



КРЫСИНЫЙ РАЗГОВОР

Крысы не могут разговаривать, вы скажете? Ну, это как когда!

На ст. Скобелев Средне-Азиатской дороги у полуразрушенного здания ТПО собралась целая компания и начала стрекотать!

— Что это ты, мать моя, такая кислая?

— Пудры нажралась, будь она проклята! Тошнит меня от пудры.

— Как же это ты так?

— Да за муку приняла. Понимаешь... белая, сыплется... Мы и думали, что крупчатка. Начали лопать... Фу, пакость! Фиалками пахнет, а сытости никакой, кроме того, понос третий день.

— Это что, — запищал юркий крысенок, — а вот мой дядя вчера начал мундир жрать на заведующем ТПО, — да пуговицу и проглотил. Стала пуговица в горле колом и ни взад, ни вперед! Так и подход, царство ему небесное, без покаяния.

— Я больше кожаные фуражки обожаю, — сказал солидный крысиный молодой человек, — от них польза, а вреда нету. Налопаться кожи, и сыт два дня.

— А где они лежат, фуражки-то?

— А это сейчас, как пролезешь в дыру в капитальной стене, так направо, пройдя мягкую мебель, одним словом — там, где фартуки лежат.

— Что ты его путаешь? Капитальная стена еще вчера рухнула. Еще крысёй свояченице лапу перебило. Они как раз и лезли заведующего лопать.

— Вкусный?

— Ну, как сказать... средний. Да, главное, сгнил уже.

— Гнилятину вредно!

— Пустяки! Помощник его совсем зеленый стал, а крысин выводок с разъезда пришел, ноги вместе с сапогами отлопали. За милую душу!

— Разъездových в шею гнать надо. С какой радости! Это наш помощник, пушай к себе лезят.

— Чего это народ собрамши, — подлетел молодой человек с хвостом.

— Да понимаешь, заперли помещения ТПО вместе с продуктами на замок да и бросили на произвол судьбы, а там, понимаешь, и фартуки, и фуражки, и чего только нету! Ну, нам теперича раздолье.

— А что ж это про заведующего говорят?

— Да говорят, что и заведующего там забыли в складе вместе с помощником, а стена рухнула и их засыпала.

Михаил Б.

«Гудок», 11 апреля 1924 г.



БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюль Верна

*С французского на эзоповский перевел
Михаил А. Булгаков*

Часть I

Взрыв огнедышащей горы

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился крупнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку махровых.

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой мансовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепаших яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски:

— Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его — Сизин-Бужин — и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылаясь на сардиночные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообмен. Матросы сгрузили на берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные отношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент «Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — «Эфиопов остров» (л'Иль д'Эфиоп).

ГЛАВА 2

СИЗИ ПЬЕТ ОГНЕННУЮ ВОДУ

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы и громче всех махровые.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди

эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Это кончилось крупною неприятностью и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И, таким образом, вновь наступили ясные времена.

ГЛАВА 3

КАТАСТРОФА

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова, у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

ГЛАВА 4

ГЕНИАЛЬНЫЙ КИРИ-КУКИ

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса»:

— Как таперича стали мы свободные, эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил пронзительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком: «Угодил, каналья, в точку!» — военачальник первый бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры и, пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсова корреспондента:

«У дураков на острове национальный праздник — байрам точка мошенник гениален».

ГЛАВА 5

BOUNT

Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы, и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал не годный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рики пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.

— Ды как же это? — заныл он. — Ведь это что же? Вам и водка и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдерживаясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз — слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.

— Вон!!! — закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах: «В чем дело?»

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов... (неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта:

«Ephiop sacatil grandiosni bount. Ostrov gorit, poval-naya tschouma. Gori trouпов. Avansom piatsot. Korrespon-dent»¹.

Часть II

Остров в огне

ГЛАВА 6

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИРОГИ

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте суда!!

Лорд Гленарван вышел с подозрительной трубой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, пироги диких?..

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейс в сторону. — Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Паганель.

Ардан и Паганель угадали.

— Что означайт? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ардан. — Они собираются жить в Европе. Компренэ-ву?!²

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван. — Нет, вы обратно остров езжай...

¹ «Эфиопы закатали грандиозный бунт. Остров горит, повальная чума. Горы трупов. Авансом пятьсот. Корреспондент».

² Вы понимаете?! (от *фр. comprenez-vous?*)

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши к черту попалили. Вот ежели бы какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод.

— Тэк-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет посмотрейт. — И скомандовал: — В карантин!

ГЛАВА 7

АРАПОВЫ МУКИ

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил...

ГЛАВА 8

МЕРТВЫЙ ОСТРОВ

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову, — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пушай поумирают к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мерзавцу Кири-Куки кишки выпустим, своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

ГЛАВА 9

ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ:

«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые дохнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и взвыл:

— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пушай поумирают! Да ежели после всего их бунта, да еще и кормить...

— Я и не собираюсь, — холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности, это свинство... — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан. — Можно было бы послать немного маису.

— Благодарю вас за совет, месье, — сухо ответил Гленарван, — интересно знать, кто будет платить за маис? И так эта арапская орава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан. — Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня, — ответил лорд, — вес вашего тела увели-

чится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда. Паганель — Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку:

«Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением. Арапы».

Уехавшие уперли с собою подозрную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

Часть III

Багровый остров

ГЛАВА 10

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ДЕПЕША

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые, как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиограмму:

«Чума кончилась. Слава Богу, живы, здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

**ОСТРОВ ГОВОРИТ!!
ЗАГАДОЧНОЕ РАДИО!!! ЭФИОПЫ ЖИВЫ!!**

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан. — Это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда:

— Теперича, ваше преосвященство, единственно: перебить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор тут томиться будем?

— Мой будет посмотреть, — ответил лорд.

ГЛАВА 11

КАПИТАН ГАТТЕРАС И ЗАГАДОЧНЫЙ БАРКАС

В чудный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан. — Эти остолопы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей, — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас. — У них такие морды, как будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразили именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гаттерас, — если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И обратившись к эфиопам, он спросил: — Эй, вы! Красно-рожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурился, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломен.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас. — Теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:

— Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем

его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

ГЛАВА 12

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопишное. Арапы выпускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У барачников стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил как помешанный и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо теперя, голубчики, вы у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирает глаза.

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированные громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середине перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломяченные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь...

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот, вот и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд благодушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт, с ко-рабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

И батальоны арапов под музыку сели на суда.

ГЛАВА 13

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Как жемчужина, сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики, полный боевого пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодоносной земли острова навстречу незванным гостям встала неопикуемая эфиопская сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было

так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них несло только одно — боевой командный вопль:

— В штыки!!

На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан. — Я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подозрной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадцатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 24 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подозрную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом?!! А-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно вса-
дил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5-м и
6-м ребром с левой стороны.

— Помо... — ахнул вождь, — гите, — закончил он уже на
том свете перед престолом Всевышнего.

— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.

— Сдаемся!! Ура! Замирайся, братцы!! — завывли смятен-
ные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозри-
мой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше.

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал
М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейса. — Пусть меня
повесят, если эти остолопы не помирились!! Гляньте, сэр!
Они братаются!!

— Я вижу, — гробовым голосом ответил лорд, — мне
очень интересно было бы знать, каким образом мы получим
теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормле-
нием этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно сказал
М. Ардан, — ничего вы не получите здесь, кроме тропичес-
кой малярии. И вообще я советую вам немедленно подни-
мать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел. И лорд
присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновени-
ем ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча: стрел
эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал, и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе.
Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной
тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственнoглазно
видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матро-
сов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновид-
ный Ардан. — Ходу, сэр!! У них отравленные стрелы. Ходу,
если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на про-
щание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья
туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходи-

ли, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.

ГЛАВА 14

ФИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслышанно наглуую телеграмму:

«Гленарвану и Ардану!

На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат (неразборчиво).

С почтением, эфиопы и арапы».

— Закройте приемники, — грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому не известно.

1924 г.

*«Накануне» (Литературная неделя),
20 апреля 1924 г.*



ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА

У всякого своя манера культработы.

Русская пословица

С поездами всегда так бывает: едет, едет и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников.

Один из таких поездов заскочил на некую ст. Мурманской ж. д. и выплюнул некоего человека. Человек пробыл на станции ровно столько, сколько и поезд, — 3 минуты, и отбыл, но последствия его визита были неисчислимы. Человек успел метнуться по станции и наляпать две афиши: одну на рыжей стене возле колокола, а другую на двери кислого здания с вывеской:

КЛУБ ЖЕ-ДЕ.

Афиши вызвали на станции вавилонское столпотворение. Люди лезли даже на плечи друг к другу.

Остановись, прохожий!! Спешите видеть!

Только один раз и затем уезжают в Париж! С дозволения начальства.

Знаменитый ковбой и факир

Джон Пирс

со своими мировыми аттракционами, как то: исполнит танец с кипящим самоваром на голове, босой пройдет по битому стеклу и ляжет в него лицом.

Кроме того, по желанию уважаемой публики будет съеден живой человек и другие сеансы чревоущия.

В заключение будет показана ясновидящая говорящая собака

или

чудо XX века

С почтением Джон Пирс — белый маг.

Верно: Председатель правления клуба.



Через три дня клуб, вмещавший обыкновенно 8 человек, вместил их 400, из которых 350 не были членами клуба.

Приехали даже окрестные мужики, и их клиновидные бороды смотрели с галерки. Клуб гудел, смеялся, гул летал в нем сверху вниз. Как птичка, порхнул слух о том, что будет съеден живой председатель месткома.

Телеграфист Вася поместился за пианино, и под звуки «Тоски по родине» перед публикой предстал ковбой и маг Джон Пирс.

Джон Пирс оказался щуплым человеком в телесном трико с блестками. Он вышел на сцену и послал публике воздушный поцелуй. Публика отвечала ему аплодисментами и воплями:

— Времячко!

Джон Пирс отпрянул назад, улыбнулся, и тотчас румяная свояченица председателя правления клуба вынесла на сцену кипящий пузатый самовар. Председатель в первом ряду побагровел от гордости.

— Ваш самовар, Федосей Петрович? — зашептала восхищенная публика.

— Мой, — ответил Федосей.

Джон Пирс взял самовар за ручки, водрузил его на поднос, а затем все сооружение поставил себе на голову.

— Маэстро, прошу матчиш, — сказал он сдавленным голосом.

Маэстро Вася нажал педаль, и матчиш запрыгал по клавишам разбитого пианино.

Джон Пирс, вскидывая худые ноги, заплясал по сцене. Лицо его побагровело от напряжения. Самовар громыхал на подносе ножками и плевался.

— Бис! — гремел восхищенный клуб.

Затем Пирс показал дальнейшие чудеса. Разувшись, он ходил по битому станционному стеклу и ложился на него лицом. Потом был антракт.



— Ешь живого человека! — взывал театр.

Пирс приложил руку к сердцу и пригласил:

— Прошу желающего.

Театр замер.

— Петя, выходи, — предложил чей-то голос в боковой ложе.

— Какой умный, — ответили оттуда же, — выходи сам.

— Так нет желающих? — спросил Пирс, улыбаясь кровавой улыбкой.

— Деньги обратно! — бухнул чей-то голос с галерки.

— За неимением желающих быть съеденным номер отменяется, — объявил Пирс.

— Собаку даешь! — гремели в партере.

* * *

Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняг. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил:

— Желающих разговаривать с собакой прошу на сцену.

Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса.

— Попрошу задавать вопросы.

Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине:

— Который час, собачка?

— Без четверти девять, — ответил пес, высунув язык.

— С нами крестная сила, — взвыл кто-то на галерке.

Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галерку и уехали домой.

— Слушай, — сказал председатель Джону Пирсу, — вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес?

— Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ, — ответил Пирс, — это собачка ученая, ясновидящая.

— Хочешь два червонца? — сказал, распаляясь, председатель.

Джон Пирс отказался.

— Три, — сказал председатель и полез в карман.

Джон Пирс колебался.

— Собачка, желаешь идти ко мне в услужение? — спросил председатель.

— Желаем, — ответил пес и кашлянул.

— Пять! — рявкнул председатель.

Джон Пирс охнул и сказал:

— Ну, берите.

* * *

Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и пять председательских червонцев.

На следующий вечер клуб опять вместил триста человек.

Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой.

Председатель стал перед ним и спросил:

— Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской жел. дороге, дорогой Милорд?

Но Милорд остался совершенно безмолвным.

Председатель побледнел.

— Что с тобой, — спросил он, — ты что, онемел, что ли?

Но пес и на это не пожелал ответить.

— Он с дураками не разговаривает, — сказал злорадный голос на галерке. И все загрохотали.

* * *

Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а зажав под мышкою портфель, прямо направился в клуб и спросил председателя правления.

— Это у вас тут говорящая собака? — спросил владелец портфеля у председателя клуба.

— У нас, — ответил председатель, побагровев, — только она оказалась фальшивая собака. Ничего не говорит. Это жулик у нас был. Он за нее животом говорил. Пропали мои деньги...

— Так-с, — задумчиво сказал портфель, — а я вам тут бу-мажку привез, товарищ, что вы увольняетесь из заведующих клубом.

— За что?! — ахнул ошеломленный председатель.

— А вот за то, что вы вместо того, чтобы заниматься культработой, балаган устраиваете в клубе.

Председатель поник головой и взял бумагу.

М. Ол-Райт.

«Гудок», 16 мая 1924 г.



ПОВЕСИЛИ ЕГО ИЛИ НЕТ

Знаете ли вы, что такое волокита.
Нет, вы не знаете.

БУМАГА КОПОСОПА И КОГОКСИСА

Началось с того, что машинистка нахлопала на отвратительной машинке и отвратительной бумажке нижеследующее
Юзово ПЧ-17, ДС, МС, ШТ

«Местком ст. Юзово просит Вас срочно озаботиться затребовать и вывесить во всех помещениях мастерских, депо, конторах и проч. генерального коллективного договора, Кодекса законов о труде, нового локального договора и правил внутреннего распорядка для широкого и ежедневного ознакомления с ними рабочих и служащих Ваших служб, при чем предупреждают, что через некоторое время охрана труда месткома будет произведена проверка настоящего исполнения и на лиц администрации, не выполнивших данного перед союзом обязательства, будут составлены акты».

Во как! Акты будут составлены.

Кстати об актах: почему у нас все считают своим долгом подписываться неразборчиво? Ведь вы же не министры, товарищи?! Под бумажкой две подписи. Верхнюю вовсе нельзя было бы разобрать, если бы не то, что ее повторила машинистка: Нечаев. А нижнюю можно читать двояко: ежели считать, что она писана латинскими буквами, выйдет Когкис, а ежели русскими, то Копосоп.

Впрочем, не важно. Приятно то, что на бумажке разборчивый штемпель: Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Это было 18 октября 1923 г.

ЕХИДНЫЙ ВОПРОС

ДС Юзово.

А где же те экземпляры Кодекса законов о труде 1922 г. и правил внутреннего распорядка, которые были высланы

вам управлением дороги? Они уже висели в конторах станции. Нового колдоговора еще не рассылалось. Он объявлен в «Гудке» за № 1022.

Подписи будем писать так, как они написаны, ничего не поделаешь.

За нач. 2 отдел сл. эксплуатац.

А. Пуллу

ДОГОВОР ДАЕШЬ!

ДН-2.

При сем отношение месткома Юзово, прошу выслать мне по 3 экземпляра генерал. коллективодоговора, Кодекса законов о труде, правил внутреннего распорядка.

Нач. ст. Юзово Козакил

21 ноября 1923 г.

ДАЕШЬ, ГОВОРЮ!

ДН-2 на № 18999.

«Местком требует, чтоб было в товар. кассе, билет. кассе, канцелярии и тех. конторе, а у меня получилось по 1 экземпляру, почему я и прошу еще по 3 экземпляра» — отчаянно пишет начальник станции Юзово и от страха превращается в подписи из Козакила в Козелкова.

И это через месяц 19 ноя. 1923 г.

ПОДДЕРЖКА ПРИШЛА

ДС.

Ходатайство об удовлетворении просьбы ДС Юзово.

Подписал А. Пурлис (быв. Пуллу)

И скрепил бывший Кешевлент, а нынешний Конвой.

ЧУДЕСА, ТОВАРИЩИ!

ДС Юзово.

По разъяснению Д № 396444 от 4 декабря с.г. дорогой получено из центра всего лишь 60 экземпляров колдоговоров,

вследствие чего выслать больше не может, а рекомендуется обращаться с ходатайством в местный местком.

КРЫШКА! НЕТУ...

Кто же так разочаровал бедного начальника станции Козакила?

Представьте, тот самый Пулплу, который за него ходатайствовал...

Для разнообразия подписался А. Пулит...

Это было уже за 2 дня до Рождества, 23 декабря.

ЧТО Ж ТАПЕРИЧА ДЕЛАТЬ КОЗАКИЛУ?

Делать ему больше ничего не остается, как опять податься в местком. Он и подался...

«Местком Юзово на № 807.

...прилагая, ...за Н... и т.д. прошу прислать... такое количество, какое вы находите нужным» и т.д.

24 декабря в сочельник.

ПРИСЛАЛИ?

Неизвестно.

Местком пишет под Новый год...

Вывесить требуется, «но снабжением должным количеством ведаёт хозорган».

Засыпался Козакил! Больше некуда.

* * *

На сем переписка обрывается. При всей переписке бумага неизвестного человека.

*В редакцию газеты «Гудок»
При сем учкультран посылает
Вам материал (9 января 1924 г.).*

Мерси.

Повесили ли в конце концов колдоговор?

Может быть, и повесили. И висит он и улыбается своими бесчисленными параграфами.

— Повесили-таки, черт меня возьми.

— А может быть, и не повесили.

И даже вернее, что нет.

Потому что в толстой пачке-переписке есть несколько штук документов, в коих вопль, что молоко не дают.

А в колдовом сказании ясно, что молоко давать нужно.

Вон оно какие дела.

Документы читал *М. Ол.-Райт*.

«Гудок», 21 мая 1924 г.

Здесь, как и в других фельетонах, опубликованных в «Гудке», часто используются железнодорожные термины, не всегда понятные современному читателю:

ДС — начальник станции;

ШТ — старший телеграфист;

ПЧ — начальник участка пути и др.



МОСКВА 20-Х ГОДОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

— Ишь, домина! Позвольте, да ведь я в нем был. Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в 6 этаж, комната №» ... позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Неважно... Одним словом, «Идите и получите объявление в Главхиме»... или Центрохиме? Забыл. Ну, не важно... «Получите объявление, я вам 25%». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите, объявление получите», я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрывшись шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел, как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на 6 этаж, нашел комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых.

А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверением о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в 6 этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах на 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

— Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому, механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

— Экая оказия, — говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знат, существует ли сейчас это Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего-лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу, ни пешком, ни в лифте!

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом Дворе, на Старой Площади в Центро-союзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье Поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из ко-

торых теперь, когда мне полегчало, кажутся уж мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Лъно-трест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно. Читателю, конечно, не интересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так!

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

I

ВОПРОС О ЖИЛИЩЕ

...Эй, квартиру!!

(II-й акт «Севильского цирюльника»)

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому: сообщая всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел обрезанный, толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзана».

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

- Маня! (из крайней картонки).
- Ну? (из противоположной крайней).
- У тебя есть сахар? (из крайней).
- В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (из соседней правой).
- Конфеты есть... (из противоположной крайней).
- Свинья ты! (из соседней левой).
- В половину восьмого вместе пойдем!
- Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто шенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!

— Как же вы сюда попали?.. Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и ну! Благодарю вас, я пил... С конфетами?! Ну их к чертям!.. Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Йокогаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее и царит мертвая тишина. Тишина, это великая вещь, дар богов и рай, это есть тишина. А между тем дверь у меня всего одна (равно как и комнат) и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной, как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в ко-

дексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю — играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О, нет, чудак из Берлина: он ее пропил.

Словом, он немыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь покажет мне, что я не прав.

* * *

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу — неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

— Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

— Ну, слава Богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

— Гм... иногда... как сказать... — ответил я уклончиво и вежливо поглядывая на жену, — вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.

— Я, я виноват, — поспешил уверить я.

— Кошмар. Кошмар. Кошмар, — заговорил доктор, глотая чай, — кошмар. Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» — «На Николаевском вокзале». — «Врешь». — «Ей-Богу...» — «Врешь». Через минуту опять: «Ты где был?» — «На Нико...» — «Врешь». Через полчаса: «Где ты был?» — «У Ани был». — «Врешь!!»

— Бедная женщина, — сказала жена.

— Нет, это я бедный, — отозвался доктор, — и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

— Кого? — спросила жена подозрительно.

— Эту... клинику...

* * *

Он в Орехово-Зуево, а знакомая Л. Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим. И Василий Иванович остается, а она уедет! А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеевич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеевич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бывшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеевичу!

А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

— Надоела ты мне, божья старушка.

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев, или случаев подобных, я знаю за последнее

время — целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно.

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт: в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу «О хорошей жизни».

Москва, 1924 г.

II

О ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:

— Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире, впадаете в ярость?

Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще, московские граждане, бросим мы эти фэйф-о-клоки к чертям!) и ответил:

— Поэтому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.

— Может быть, вы еще чаю хотите? — осторожно предложила хозяйка.

— Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт, — со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.

— Вам хорошо говорить, — продолжал я, закуривая, — когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.

Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карманы. В одном он ничего не нашел, в другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды и там не нашел.

Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер «Накануне», полюбовался на него и сказал:

— Пропала куда-то. Ну, ладно.

С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.

— Пошел вон! — закричал, краснея, Юрий Николаевич. Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.

— Однако.

— До ремонта ее не было, — пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой, — а вот, сделали ремонт и дыру.

— Так ее же можно заделать.

— Нет уж я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает.

Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел.

— Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.

— Куда?

— В бумажке написано: не касается.

Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.

* * *

В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! Ведь месту пусто не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на

его место «втряхнется» Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гаврилычу вытряхательную бу-мажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия...

Нет, граждане, это чепуха какая-то получается!

* * *

В лето от Рождества Христова... (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!»), ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года 1922 и 1923-й страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Труд-книжку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.

(Голос Юрия Николаевича за сценой: — Да у вас отличная комната!!)

Хор греческой трагедии. Бескомнатные:

— Эт-то возмутительно!!!

Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывают лучше.

И так — застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренно ликовал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он, бишь, назывался?.. Центрожил... ну, одним словом, те, что в 21 — 23-м гг. комнаты раздавали по ордер-ам. По скольку лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?.. «окил» этот, кажется, упразднили. И уже появились в «Известиях» объявления «Ищу... Ищу... Ищу...», а я так и сижу. Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.

* * *

Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бомбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты.

Ведь это же сверхъестественно!!

Четыре комнаты — три человека. И никого посторонних.

И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «вытряхайтесь!!».

А она взяла и... не вытряхнулась.

Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры.

Зина, ты орел, а не женщина!

Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.

* * *

Николай Иванович отыгрался на двух племянниках. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Ивановича. Приходили и с портфелями и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.

* * *

На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть

один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явствовало, что у означенного Яши студия.

Яша — ты гений!

* * *

А Паша...

Довольно!

* * *

С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что.

Два сорта живущих хорошей жизнью:

1. Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иванович, Яша, Паша и др...).

2. Ничего не имели, приехали и получили.

Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме. Затем неизменно идут неприятности на сердце от трефовой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальная дорога и в заключительном аккорде бубновый туз (десять, по амнистии — два, в общем, восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза — Абрам, на Абрамово место — Федор...

Довольно...

ПРОЕКТ

Так же, конечно, немислимо! В воздухе много проектов; в числе их бумажки о выезде 2-х в такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.

Все это не то.

Действителен лишь мой проект:

Москву надо отстраивать.

Когда в Москве на окнах появятся белые билетики со словами:

«СДАЕЦА»,

все придет в норму.

Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской мае-
той — у одних на сундуке в передней, у других в 6 комнатах
в обществе неожиданных племянниц.

ЭКСТАЗ

Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

Москва, май 1924 г.

«Накануне», 27 мая 1924 г.

12 июня 1924 г.



ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворающая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.

— Зу-у-у... — вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история, — пособолезновал Иона, — беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой снимет.

— Иона... Иона Васильич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный — среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну, что ж... Велика мудрость. Пушай. И сами упра-

вимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ
ХАНСКАЯ СТАВКА

Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голених узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрал голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и борода подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, — злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, — принесла нелегкая. И чего Цезарь вост. Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте, — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» — и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидели пройденный провал лестницы, и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улета я куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка, — зашептала толстая мать, — видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович, царство ему небесное, полтораста лет назад. Вот как, — он вздохнул. — Пра-пра-прадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно, — ответил голый, — при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава Богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

— Руководительница, — начал Иона и засопел от ненависти к голому, — с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасе с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестили трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и, точно вчера потушенные, были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона, — наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом туняядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости Господи», — вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князя Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник — повелитель Малой орды Хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-, Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца гайдука...

Голый, раздвинул толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

— Это Бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина, — продолжал голый, поправляя пенсне, — о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливового парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекошил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканые сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачали пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игровой, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

— Это кто же такой?

— Последний князь, — вздохнув, ответил Иона, — Антон Иоаннович, в кавалергардской форме. Они все в кавалегардах служили.

— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, — Иона заикнулся от злобы, что голый опять вяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да плонь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив? — изумилась дама. — Это замечательно!.. А дети у него есть?

— Деток нету, — ответил Иона печально, — не благословил Господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

— Классный старик... — восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей, — проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверх и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик акку-

ратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогрел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и поблел.

Во дворце были шаги. Они слышались со стороны бильярдной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, впереводку с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда, — мелькнуло в голове у старика. — Вот оно, вещее, чужое... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. — Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи Боже мой... — Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один... — переведя дух, молвил Иона, — да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

— Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради, — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо, — услышать может кто-нибудь...

— Ба... батюшка, — судорожно прошептал Иона, да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

— Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подряхлел, Иона, Боже, до чего ты старенький! — заговорил князь, волнуясь. — Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза...

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы,

батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка... И как же вы пошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду, из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, Господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году, — ответил он и задержал ртом, — в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом доньшке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное, — дрожащим голосом пробормотал он, — панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В самом деле, ваше сиятельство, — он умоляюще поглядел на князя, — как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на утасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

— Цел-то цел кабинет, — бормотал Иона, — да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег. — Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка, — виновато ответил Иона, — из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут,

ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку, — князь ощерился, — что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство, — растерянно хрипнул Иона, — ведь видимо-невидимо книг-то у вас, — мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съехался в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

— Этого Эртуса я повешу вон на той липе, — князь белой рукой указал в окно, — что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. При чем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

— А рядышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов, — он поднял глаза к небу, запоминная фамилию. — Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне, — Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желвака-

ми, — ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдал из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. — Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше, — князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщился, встал и глянул на часы.

— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, — у князя в руках очутился бумажник, — бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму, — прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. — Только смотри тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка, — жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор, — сказал Тугай, — ты, главное, не бойся! Не

бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

Алекс. Эртус
История Ханской ставки

ниже:

1922 — 1923.

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь неподвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака, — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом свете шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу, — прошептал он, — с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть, — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. — Это сон. — Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», — опять забормотал: — По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу, — Тугай вопросительно посмотрел на Александра I, — я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость. — Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам. — Я жалею, что я не застрелил. Жалею. — Ярость начала кипеть в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взял за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, Боже мой, — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянно созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел в конторке, и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел стрег ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Приоткрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и, разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно, — сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

«Красный журнал для всех», 1924, № 2.



ПУСТЫНЯ САХАРА

*Мучительное умирание от жажды
в 1 действии и 8 картинах*

КАРТИНА 1-Я

К ст. «Безводная» подходит битком набитый поезд «Максим». Еще за версту слышно, что пассажиры хриплыми, звериными голосами поют что-то на мотив «Варяга». За полверсты уже можно разобрать слова:

Прощайте, друзья! Не вернемся назад.
Последний наш час наступаст.
Растрескалась глотка, горит, — а глаза
Кровавый туман застилает.
Мелькают поля и овраги...
Мы душу заложим за каплю воды,
За каплю живительной влаги!

КАРТИНА 2-Я

Поезд подходит к станции. Пассажиры, обезумев от радости, высыпают на площадки. Пляшут на подножках и потрясают котелками и чайниками. Хор на мотив «Камаринской»:

Полно, братцы, будет злиться.
Славно в жаркий день напиться
Жи-ви-тель-ною водой,
Хо-ло-дною ключевой!

Гремя посудой, бегают по платформе и ищут бак с водой. Бака нет. Бегут на станцию. На станции воды тоже нет. В толпе начинается смятение:

- Ох!
- Что теперь делать?!
- Похоже, воды-то нет!

Подозрительный молодой человек, выходя из-за угла:

Беспонятный ты народец!
За вокзалом есть колодец!
Только выйдешь из дверей...

— Ох! Колодец?! Да что ты говоришь?!

— Колодец, ребята, колодец!

— Вали!

— Вот он — колодец.

— Где, где?

— Да вот!

— Эх, черт, да это яма выгребная!

Толпа кидается обратно на станцию.

По платформе гуляет ДС и обмахивается платочком.

Толпа напирает.

— Почему на станции воды нет?

— Воды? На станции? Чудаки вы, ей-Богу! Наши служащие ходят за водой в соседнюю деревню — за версту отсюда. Пойдите к ним по квартирам, там напьетесь.

Толпа бежит из вокзала в соседнюю улицу.

КАРТИНА 3-Я

Дом общежития служащих. Перед входом стоят хозяйки с коромыслом через плечо. В ведрах искрится хрустальная, холодная вода. Хор хозяек:

Шла де-ви-и-ца за во-дой,
За хо-ло-дной ключевой.
В самый полдень, в жаркий зной,
В жаркий полдень, ой-ой-ой.

Ой!

Ох, во-дн-и-ца ты, вода.
Наша лю-та-я бе-да.
Грыжу долго ли нажить —
За версту с водой ходить, —
— Ой! Что такое?

От станции бежит простоволосая женщина. Машет руками.

— Хозяйки! В дом! Запирайте двери!
Пассажиры по воду. Осатанели! Звери.
Все прячутся в дом. Щелкает дверной замок.

КАРТИНА 4-Я

Толпа с пустыми чайниками и котелками подходит к дому. Лица истомлены, глаза горят лихорадочным блеском. Стучат в дверь:

— Хозяюшки! Помогите! Пожалейте, сестрицы!
— Погибаем! Дайте глоточек водицы!

Из всех окон одновременно высовываются жирные кукиши, и невидимый хор хозяек поет:

— Понапрасну, Ванька, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь.
Ни черта ты не получишь,
Болваном домой пойдешь!

Толпа со слезами смотрит на торчащие из окон кукиши.

Мимо проходит Пече с рыболовным сачком в руках. Пече нисколько не удивлен этой сценой. Пече даже сочувствует бедным людям:

— Идите, — говорит, — бедные люди, за угол направо. Там станционный бассейн есть. С водичкой. Там и напьемся.

КАРТИНА 5-Я

Станционный бассейн. Зловоние. Вода густо сдобрена мазутом. В вонючей смеси плавают 5дохлых кошек, 6 ворон и крыса. Кругом летают гигантские малярийные комары.

Рев приближающейся толпы на мотив «Уморилась».

Где он, где он, где он, — сей
Наш спасительный бассейн?
Уморилась, утомилась,
Исстра-да-ли-ся!

Подходят ближе... Еще ближе... Еще... Еще...
— Ох, нет! Давайте занавес! Следующую картину!

КАРТИНА 6-Я

Станционные задворки.

Стоит бак с надписью: «Кипяченая вода».

Пече, Мече и Вече сачками вылавливают из бака головастики: кто больше зачерпнет?

Потом пускают головастиков обратно в бак, и игра начинается сначала.

Они так увлечены, что толпа жаждущих застает их за этой интересной игрой.

— Ага, вот они чем занимаются?!

— Изверги, кровопийцы, где вода?

— Почему бак не на месте? Почему с головастиками, — рассказывай!

Пече спокойно ждет, пока стихнет буря негодования. Правдивыми, честными глазами смотрит он в глаза измученным людям.

— Товарищи! Эти головастики... они не простые. Для научных целей разводятся.

— Для научных целей? Ах вы ироды! А кошки дохлые в бассейне тоже для научных целей?!

— Товарищи! Не волнуйтесь! Ей-богу, мы не виноваты насчет кошек! Понимаете, эти кошки... они... самоубийцы. Ей-богу, на моих глазах десятая кошка с собой кончает. И дался ведь им этот бассейн несчастный!

— Да что ты врешь-то, глазенки твои бесстыжие!

— Что голову людям морочишь!

— Русским языком тебя спрашиваем: почему воду в бассейне не сменили? Почему кошек дохлых не выловили?

— Пробовали, товарищи! Ей-богу, пробовали. Только вытащить их никак невозможно. Вцепились они когтями в воду... то есть в мазут, и ничего с ними поделать нельзя. Тащили-тащили и бросили...

— Бросили? То-то вы бросили?

— Вас бы самих туда вместо этих кошек!

— Ну, рассказывайте, ироды, где воду взять!

— Товарищи, не волнуйтесь! Честное слово, вода в двух шагах от вас. На водокачке. Через пути, налево.

Озлобленная толпа направляется к водокачке. Пече, Мече и Вече захлебываются икотой и недоумевают: «Кто это, дескать, нас так крепко вспоминает?»

КАРТИНА 7-Я

На переднем плане — водокачка. Она выглядит хмурой, озабоченной... К ней робко подходят изможденные люди, протягивая вперед чайники и котелки.

— Водокачка! Матушка! Кормилица!

— Пожалей ты нас, горемычных!

— Дай водицы!

— Капельку!

— Глоточек!

Толпа в ужасе замолкает.

Водокачка внезапно содрогнулась, и явственно слышен ее каменный, замогильный голос.

— Человек надоедлив и глуп...

Лезет с просьбами всякий и каждый...

Я сама изнываю от жажды —

Кукиш с маслом! Холеру Вам в... пуп!

Раздается громоподобный, подозрительный звук, и водокачка извергает из себя сгустки вонючей плесени и разный мусор.

Толпа разражается бурей угроз по адресу Пече, Мече и Вече. В это мгновение со станции слышится 3-й звонок.

КАРТИНА 8-Я

Рабочий поезд «Максим» отходит со станции «Безводная».

Из вагонов доносятся хрип, предсмертные стоны и проклятия.

Пече, Мече и Вече слушают проклятия и укоризненно качают головой. Всем своим видом они говорят:

— Боже мой! За что?! И так вот каждый день!

И затем уже вслух:

— Нетерпеливый народ пошел! Буян-народ! А мы — мученики!

Из последнего вагона поезда вырывается душераздирающий вопль:

— Воды! Во-ды-ы-ы!!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если читатель, прочтя предыдущее, скажет: «выдумки» — мы, к сожалению, должны будем разуверить его. Все написанное, по существу, голая, не преувеличенная правда — наши рабкоры собрали ее по кусочкам на следующих станциях: 1. Красный Берег — Зап. ж. д. (рабкор № 291); 2. Каменская-Ю.-В. ж. д. (Поляков); 3. Аляты — Закавказской ж. д. (рабкор № 255); 4. Пачелма — Сызр.-Вяземской ж. д. («Чумазный»); 5. Батраки — М. Каз. ж. д. (рабкор № 694); 6. Гомель — Зап. ж. д. («Жало»); 7. 209 верста — Мос.-Каз. ж. д. — Казарма (рабкор № 694).

Конечно, не на всех указанных станциях воют именно пассажиры: чаще даже они уступают эту честь мастерским, депо, казармам и стрелочным постам.

Конечно, не везде кошки кончают жизнь самоубийством (бассейны не на каждой станции есть).

Не спорим: все эти станции во многом отличаются друг от друга. Но суть их одна: каждая из них — кусочек безводной пустыни Сахары и каждая под угрозой эпидемии.

Имеющие уши слышать — пусть услышат...

М. Миниев

«Гудок», 8 июня 1924 г.



РАССКАЗ МАКАРА ДЕВУШКИНА

Жизнь наша хоть и не столичная, а все же интересная, узловая жизнь, и происшествий у нас происходит невероятное количество, и одно другого изумительнее.

БРЮКИ И ВЫБОРЫ

Был, например, такого рода факт: купил себе наш секретарь месткома Фитилев новые брюки шевииот в полоску. Удивительного тут ничего нет для такого города мирового, как, например, Москва, — там у каждого брюки в полоску, а в наших палестинах это обновка!

Понятное дело, всякому лестно посмотреть на фитилевы штаны. Но только Фитилев аккуратный человек — не объявляет штанов до поры до времени. И вот расклеивается совершенно неожиданно повестка знаменитого общего собрания всех до единого членов нашей станции. И в повестке стоят такие вопросы, как доклад предучкпрофсожа, доклад УДР и в заключительном аккорде отчет месткома с переборами, в чем самый главный гвоздь и есть.

Кроме того, все говорят, что на торжественном собрании выступит и знаменитый наш Фитилев, секретарь, в новой покупке. Так что зал заполнился до невыносимых пределов духоты, и действительно появился Фитилев со складками, и штаны как чугунные на памятнике поэта Пушкина в Москве, до того сшиты отлично.

Нуте-с, отлично. Ровно в шесть часов встал председатель и объявил собрание открытым, и вышел наш величественный предучкпрофсож, кашлянул и врезал собранию речь. Начал докладывать про дорожный съезд и докладывал с

6 часов до 9 часов, а по новому стилю до 21 часа, выпив всего полграфина воды из первого класса. Что было в зале, выразить я не могу, за исключением того, что неожиданно заснул весь первый ряд, а за ним второй, как на поле сражения. И даром председатель звонил и призывал к сознательности. Какая же сознательность у человека, ежели он спит?

Но разразилась, нарушив течение профессиональной жизни собрания, гроза в лице ремонтного рабочего Васи Данилова. Из ряда поднялся Вася и заплакал так, словно утратил дорогого спутника жизни — жену, — обратившись громовым голосом к докладчику, сказал:

— Ежели ты не закроешь задвижку, я удавлюсь! Больше я не могу после восьмичасового рабочего дня слышать про твои факты.

И произошло волнение в сплоченных рядах и исключили Васю из заседания впредь до успокоения.

Тогда Вася, плача до самой двери, вышел, соблазнив многих, говоря:

— Иду, дорогие товарищи, в пивную, потому что без пива второй речи не выдержу.

И с ним ушли некоторые. В смятении по поводу кворума председатель первого докладчика ликвидировал, а выпустил второго, и второй про работу правления говорил до 23 часов, с лишком 2 часа про разные цифры. Никакие брюки ничего не помогли, и сам Фитилев пал лицом на белые руки и, притворяясь, что слушает, на самом деле заснул. Барышни, любовавшиеся на красавца Фитилева, все ушли, потому что хоть Фитилев холостой, но невозможно.

И, наконец, около полуночи кончилось все, и лучше всех убил наповал сам Фитилев, оживившись по окончании речи.

Встал Фитилев, прищурился на трибуне и заявил:

— От имени Российской коммунистической партии большевиков...

Весь зал проснулся, потому что думали, что он радио объявит международной важности, а он дальше:

— ...ячейки нашей станции и от имени укома предлагается список кандидатов в местком. И чтоб, товарищи, никаких отводов и замен, потому как мне поручено провести и я не допущу.

Вася Данилов вернулся к перевыборам со своими спут-

никами бодрый, собираясь навести рабочую здоровую критику на кандидатов, и даже открыл рот.

— Вот так клюква! — вскричал Вася и без всякой критики проголосовал рукой. А за ним все.

Но когда разошлись, червь мне сердце источил, и я не вытерпел. Спросил у нашего партийного Назара Назарыча — развитого человека:

— Это правда, что вот, мол, от имени Российской и не смей шевельнуть языком?

А тот и говорит:

— Ничего подобного!.. Жалко, что я больной лежал, а я б его разъяснил. Безобразие! Хлестаков в полосатых штанах. Это не живое дело, а гнусный бюрократизм!

И пошел, и пошел.

Вот оно какие бывают оригинальные заседания у нас в захолустной жизни.

Записал рассказ
Михаил Б.

«Гудок», 11 июня 1924 г.



НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ОБИДА

Заведует железнодорожной школой при ст. Успенская Екат. дороги учитель Николай Гаврилович Кириченко. 7-го мая он устроил в помещении успенского сельбудинка спектакль (играли ученики), сбор которого шел в пользу школы.

Спустя четыре дня после спектакля получил учитель от местной ячейки комсомола записку, которая, как он сам пишет, «перевернула ему все нутро».

И, действительно, можно перевернуть:

Завшколой тов. Кириченко.

После постановки вашего спектакля вы не позаботились привести сцену в порядок, а потому просим сегодня же привести в надлежащий вид, в крайнем случае уборка будет произведена за ваш счет.

За секретаря ячейки...

Следуют подписи.

Крайнего случая не произошло: не пришлось за счет учительских грошей производить уборку, потому что учитель сам взялся за метлу и убрал со сцены сор, набросанный, главным образом, самими же комсомольцами.

Но покончив с обязанностями уборщицы, учитель взялся за перо (оно ему свойственно более, чем метла) и написал:

«Я приходил к комсомольцам в сельбудинок безвозмездно читать лекции и политбеседы и часами в холод поджидал, пока соберутся комсомольцы.

Я сам приносил им в клуб географические карты и гвозди и этими гвоздями карты прибавлял.

Устраивал бесплатные спектакли, причем сам устанавливал декорации и убирал сцену.

Работал и по праздникам и по ночам.

Словом, никаким трудом не пренебрегал и за это получил обиду. Не важно, что пришлось подметать пол, а важно то, что молодые ребята приказывают мне делать то, что я вовсе не обязан, да еще в обидном недопустимом тоне. На ружейный выстрел не захочешь после такого отношения к учителю подойти к сельбудинку и что-нибудь сделать для него».

Крыть в ответ нечем. Успенские комсомольцы! Поступили вы с учителем нехорошо, неаккуратно: обидели его, а за что — совершенно неизвестно.

Всякую культурную силу, работающую в нашей школе, нужно беречь и уважать.

Вывод тут один: если обидели, нужно извиниться перед учителем и добрые отношения с ним восстановить.

Это вам настойчиво советует «Гудок».

М. Б.

«Гудок», 13 июня 1924 г.



САПОГИ-НЕВИДИМКИ

Рассказ

А позволь спросить тебя: чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Из Гоголя

Поди ты в болото, кум! Ничем я их не смазываю, потому что у меня их нету!

Из меня

ВО СНЕ

Восхитительный сон приснился сцепщику в Киеве-Товарном Хикину Петру. Будто бы явился к Хикину неизвестный гражданин с золотой цепкой на животе и сказал:

— Ты, Хикин, говорят, сапожный кризис переживаешь?

— Какой там кризис, — ответил Хикин, — просто сапоги к чертям развалились. Не в чем выйти.

— Ай, яй, яй, — молвил, улыбаясь, неизвестный, — какой скандал. Такой симпатичный, как ты, и вдруг выйти не может. Не сидеть же тебе целый день дома. Тем более что от этого служба может пострадать. Так ли я говорю?

— Рассуждение ваше правильное, — согласился босой спящий Хикин, — а дома сидеть нам невозможно. Потому что жена меня грызет.

— Ведьма? — спросил неизвестный.

— Форменная, — признался Хикин.

— Ну вот что, Хикин. Ты знаешь, кто я такой?

— Откуда же нам знать, — храпел во сне Хикин.

— Волшебник я, Хикин, вот в чем штука. И за твои добродетели дарю я тебе сапоги.

— Покорнейше благодарим, — свистел во сне Хикин.

— Только, брат, имей в виду, что сапоги это не простые, а волшебные. Невидимки сапоги.

— Ну?

— Вот тебе и ну!..

Сонная мгла расступилась, и оказались перед Хикиным изумительной красоты сапоги. И немедленно сцарапал их

Хикин, натянул и, хрипя и чмокая во сне, отправился к законной жене своей Марье.

Накопила трехлинейная лампа керосином, наглотался тяжкого смрада сцепщик, и пошел он криво и косо боком, превратился в кошмар.

Вынырнуло личико законной Марии, и спросил ее голосок:

— Чего ты лазишь в одних подштанниках, идол?

— Ты глянь, Манюша, какие сапоги мне волшебник выдал, — мягко пискнул Хикин.

— Волшебник?! — вскричала супруга. — Горе мое, допился до волшебников. Ты же босой, алкоголик несчастный, как насекомое. Глянь на себя в лужу!

— Ответишь ты мне, Маня, за это слово, — дрожащим голосом молвил Хикин, обидевшись на насекомое, — пойми в своей голове: сапоги — невидимки.

— Невидимки?! Головушка горькая, глядите, добрые люди, на папашу огромного семейства! Добрался до белой горячки.

И завыли дети на печке, и начался ад кромешный в сцепщиком семействе.

Стрельнул во сне Хикин с Товарного-Киева на Крещатик, людную улицу, и погиб.

Будто бы шла толпа граждан в лакированных ботинках за Хикиным, улюлюкала и выла:

— Го... го! ...Улю-лю! Смотрите, гражданочки, на сцепщика! Пропил сапоги. Ура! Бей его, сукина сына!

И милиционеры свистали.

А один подскочил к Хикину, откозырял и доложил:

— Позор, гражданин Хикин, попрошу удалиться с главной улицы и не портить пейзаж.

— Отойди от меня, снегирь! — взревел во сне Хикин. — Что ты, ослеп? Сапоги невидимые.

— А, невидимые, — спросил милиционер, — тогда пожалуйте, мосье Хикин, в отделение, там вам докажут, кто тут невидимый.

И засвистал, как соловей.

И от этого свиста Хикин проснулся в поту.

И ничего: ни волшебника, ни сапог.

НАЯВУ

Вышел Хикин на станцию и увидал замечательное объявление:

Рабочий кредит
Никому не вредит

ОТПО предлагает своим многоуважаемым покупателям безграничный кредит. А по кредиту все дешево и сердито.

— Сон в руку! — обрадовался Хикин и устремился в лавку.

В лавке творилось неопишное. Лезли стеной, сапоги требовали. Потребовал и Хикин, требуемые получил и только осведомился:

— А почему у вас на 3 целковых дороже? чем на базаре?

— Да вы же гляньте, сударь, какие это сапоги, — ответил приказчик, улыбаясь, как ангел, — это же сапоги любительские. Что надо! Из собственного материала.

Надел Хикин любительские сапоги и отправился к исполнению служебных обязанностей — сцеплять вагоны. И грянул во время обязанностей любительский дождик что надо, и через пять минут был Хикин без сапог. Ошалел Хикин, снял Хикин с ног любительские остатки и явился босой в ТПО¹.

— Из собственного материалу? — грозно спросил он у уполномоченного.

— Да, — нагло, развязно ответил уполномоченный.

— Да ведь это же картонки?!

— А я разве обещал за пятнадцать целковых из железа сапоги?

Побагровел тут Хикин, взмахнул раскисшими сапогами и сказал уполномоченному такие слова, которые напечатать здесь нельзя.

Потому что это были непечатные слова.

М. Б.

«Гудок», 15 июня 1924 г.

¹ ТПО — транспортная потребительская кооперация.

ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ

Начохраны ст. Москва М-Б Белорусской дороги гр. Линко издал приказ по охране, которым предписывает каждому охраннику обязательно запротоколировать четырех злоумышленников. В случае отсутствия таковых нарушители приказа увольняются.

— Ну, мои верные сподвижники, — сказал начальник транспортной охраны ст. Москва-Белорусская, прозванный за свою храбрость Антипом Скорохватом, — докладайте, что у вас произошло за истекшую ночь?

Верные сподвижники побренчали заржавленным оружием и конфузливо скисли. Выступил вперед знаменитый храбрец — помощник Скорохвата:

— Так что ничего не произошло...

— Как? — загремел Антип. — Опять ничего? Пятая ночь ничего! Почему нет злоумышленников?

— Сказывают, сознательность одолела, — извиняющимся тоном доложил помощник.

— Тэк-с, — заныл зловеще Антип, — одолела! Вагоны с мануфактурой целы? Никакой дьявол не упер вновь отремонтированного паровоза серии ЩА? И никто не покушался на кошелек и жизнь начальника станции Москва-Белорусская? Да это же что же? Я, что ли, за них, чертей, воровать буду сам?!

Сподвижники тоскливо молчали.

— Это, братцы, так нельзя, — продолжал нить Антип. — Ведь это, выходит, что вы даром бремените землю. Какого черта вы лопаете белорусско-балтийский хлеб? Кончится все это тем, что вас всех попрут в шею со службы, вместе с вами и меня. Огромная такая станция — и никаких происшествий! А ежели начальство спросит: сколько, Антип, ты поймал злоумышленников за истекший месяц? Я ему что покажу? Шиш? Вы думаете, меня за шиш по головке погладят?

— Нету их, — тоскливо запел помощник, — откуда же их взять? Не родишь их.

— Роди! — взвыл Антип. — Попирая закон природы! Гляди! Посматривай! Идет человек по путям, ты сейчас к нему. Какие у тебя мысли в голове? Ты не смотри, что у него постная рожа и глаза, как у педагога. Может, он только и мечтает, как бы пломбу с вагона скovyрнуть. Одним словом, вот что: в советском государстве каждая козявка выполняет норму, и чтоб вы выполняли! Чтоб каждый мне по четыре злоумышленника в месяц представил. Как это может быть, я вас спрашиваю, без происшествий?

— А ведь было происшествие ночью-то, — захрипел один из транспортных воинов, — мастера Щукина пес чуть штаны не порвал Хлобуеву, когда мы под вагонами лазили.

— Вот! — вскричал предводитель. — Вот! А говорит — нету! А дикие звери на белорусской территории, вверенной нам, это не происшествие? Поймать и убить! Убить на месте.

— Кого — мастера или пса?

— Мозгами думайте! Пса. И мастера ущемить: покажи мандат на предмет засорения станции хищными зверями. Одним словом — марш!

* * *

У мастера Щукина была счастливая звезда в жизни, и потому пуля проскочила у него между коленями.

— Что вы, взбесились, окаянные?! — закричал ошалевший Щукин. — Чего ж вы божью собачку обстреливаете?

— Бей его! Заходи! Штыком его! Убег, проклятый! А ты, борода, покажи мандат, какой ты есть человек.

— А, ты знаешь, Хлобуев, — засипел, зеленея, Щукин, — допьешься ты до чертей. Ты погляди мне в лицо...

— Нечего мне в лицо глядеть. Достаточно мне твое лицо известно. Показывай удостоверение.

— Отлезь от меня, фиолетовый черт.

— А-а. Отлезь? Ладно. Бикин, бери его. Пушай покажет основание, по которому находится на путях.

— Кара-ул!!

— Поори, поори...

— Кара!

— Покричи мне...
— Кр... кр...
— Покаркай!..

* * *

Вторым засыпался член коллегии защитников Ламца-Дрицер, вернувшийся в дачном поезде из подмосковной станции «Гнилые корешки» и избравший кратчайший путь через линию.

— Это вопиющее нарушение! — кричал заступник, конвоируемый Антиповым воинством, — я подам заявление в Малый Совнарком, а если не поможет, то в Большой!

— Хучь в громадный, — пытели храбрецы, — Совнарком разбойникам не потатчик.

— Я разбойник! — вспыхивал и угасал Дрицер, — как свеча.

Ладно, бывают алистократы, с портфелями карманы вырезают.

* * *

...Третьей — теща начальника станции с лукошком.
— Отцы родные! Сыночки! Куда ж вы меня тащите?!

* * *

...И четвертой — целая артель временных рабочих полностью. С лопатами, с кирками и твердыми краюхами черного хлеба. Артельный староста, похожий на патриарха, стоял на коленях, ослепленный блеском оружия Антиповой гвардии, и бормотал:

— Берите, братцы, все. Лопаты и рубашки. Скидайте штаны, только отпустите христианские душеньки на покаяние.

* * *

Неизвестно, чем бы кончились Антиповы подвиги, если бы всевидящее начальство не прислало ему телеграмму:

Антипу.
Антип! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но если их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай!
Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип!

Любящее тебя начальство».

Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь.

М. Б

«Гудок», 18 июня 1924 г.



ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОКОЙНИКА

— Кашляните, — сказал врач 6-го участка М.-К.-В. ж. д. Больной исполнил эту нехитрую просьбу.

— Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплывали. Дышайте. Больной задышал, и доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон.

— Ого! — воскликнул доктор. — Здорово! Температура как?

— Градусов 70, — ответил больной, кашля доктору на халат.

— Ну, 70 не бывает, — задумался доктор, — вот что, друг, у вас ничего особенно — скоротечная чахотка.

— Ишь как! Стало быть, помру?

— Все померем, — уклончиво отозвался медик. — Вот что, ангелок, напишу я вам записочку, и поедете в Москву на специальный рентгеновский снимок.

— Помогает?

— Как сказать, — отозвался служитель медицины, — некоторым очень. Да со снимком как-то приятнее.

— Это верно, — согласился больной, — помирать будешь, на снимок поглядишь — утешение! Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать: «А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника, царство ему небесное». И гостям приятно.

— Вот и прекрасно, что вы присутствие духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику Зерново-Кочубеевской топливной ветви. Он вам билетик выпишет из Москвы.

— Покорнейше благодарю.

Больной на прощание наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь.

- Вам чего?
- Скоротечная у меня.
- Тю! Чудак! Ты что ж думаешь, что у начальника санатория в кабинете? Ты, дорогуша, топай к доктору.
- Был. Вот и записка от доктора на билет.
- Билет тебе не полагается.
- А как же снимок? Ты, что ль, будешь делать?
- Я тебе не фотограф. Да ты не кашляй мне на бумаги...
- Без снимка, доктор говорит, непорядок.
- Ну так и быть, ползи к начальнику.
- Драсте... Кхе... кх! А кха, кха!
- Кашляй в кулак. Чего? Билет? Не полагается. Ты прослужил только два месяца. Потерпи еще месяц.
- Без снимка помру.
- Пойди на бульвар да снимись.
- Не такой снимок. Вот горе в чем.
- Пойди, потолкуй с бухгалтером.
- Здрасте.
- Стань от меня подальше. Чего?
- Билет. За снимком.
- Голова с ухом! У меня касса, что ль? Сыпь к секретарю.
- Здра... Тьфу. Кха. Рррр!..
- Ты ж был у меня уже. Мало оплевал? Иди к начальнику.
- Здравия желая... Кха... хр...
- Да ты что, смеешься? Курьер, оботри мне штаны. Катись к доктору!
- Драсти... Не дают!
- Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику.
- Не пойду, помру... Урр...
- А я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его.

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

- С нами крестная сила! Ты ж помер?!
- То-то и оно.

— Так чего ты ко мне припер? Иди, царство тебе небесное, прямо на кладбище!

— Без снимка нельзя.

— Экая оказия! Стань подальше, а то дух от тебя тяжёлый.

— Дух обыкновенный. Жарко, главное.

— Ты б пива выпил.

— Не подают покойникам.

— Ну, зайти к начальнику.

— Здрав...

— Курьеры! Спасите! Голубчики, родненькие!!!

— Куда с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный?!

— Говори, говори скорей! Только не гляди ты на меня, ради Христа.

— Билетик бы в Москву... за снимком...

— Выписать ему! Выписать! Мягкое в международном. Только чтоб убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет.

— Как же писать?

— Пишите: от станции Зерново до Москвы скелету такому-то.

— А гроб как же?

— Гроб в багажный!

— Готово, получай.

— Покорнейше благодарим. Позвольте руку пожать.

— Нет уж, рукопожатия отменяются!

— Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей! Курьер, проводи товарища покойника!

«Гудок», 27 июня 1924 г.



БАННЫЕ ДЕЛА

КРЕ-ДИ-ТОВ НЕМА!

На ст. Сагуны Ю.-В. ж. д. есть баня. Бедная! Одинокая! Ни одна живая немывтая душа не заглядывает в нее.

Почему? — спросите ПЧ ст. Евстратовка, коему банный котел послан для ремонта еще в январе месяце. Он насупится и изречет:

— Кре-ди-тов нема!

А потом — скороговоркой шепотом:

— Управление задерживает!

И он прав. Нужно поторопить почтенное управление, чтобы оно разрешило, наконец, кредит на ремонт старого котла или же на покупку нового.

Рабкор 210.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СТ. АНДИЖАН СР. АЗ. Ж. Д.

Баня разваливается.

Рабочие чешутся, срывая с немывтого тела полуторавершковые пласты грязи.

ПЧ благодушно шуруется на солнышко и гладит свое чистое белое тело (у него есть баня на другой станции).

Все это происходит под одобрительное молчание управления.

Рабкор 644.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ВОЛОКИТА

Происходит она на ст. Лиозно Ор.-Вит. ж. д. Предмет сей волокиты — баня. Камень преткновения ее — ремонт.

Уже несколько раз подвозили материалы, открывали и закрывали кредиты.

Уже 13 раз служащие протоколами общих собраний зывали к помощи учкпрофсожа. Уже 2 раза писали в «Гудок».

Но... воз и ныне там. Материал, подвезенный для ремонта бани, гниет.

Лиозновцы в количестве 120 человек обрастают грязью.

А волокита торжествует. По чьей вине — неизвестно.

Вот на выяснении этого мы и настаиваем.

Булавка.

РАССКАЗ ОСКОРБИТЕЛЯ НРАВСТВЕННОСТИ

Меня схватили на ст. Бахмач М.-К.-В. ж. д., когда я в голом виде среди бела дня бежал по платформе. Но я не виноват. Чес-слово, не виноват! Пускай читатель будет мне судьей.

Я приехал на эту станцию — на Бахмач, значит, по делам. Время — неважно.

Ну и захотел помыться. Гляжу — баня. Зашел.

Батюшки-светы. Как оттуда шибанет вонью, дымом! Да ветер сквозь стены: У-у-у! У-у-у! Одначе я себя пересилил. Разделся.

Холод в бане. Гляжу — тридцативедерный чан с водой. А кругом человек пять местных. Смеются чего-то. Ты, говорят, водичку эту с почтением набирай! Мы ее из колодца через раздевальную таскаем! Взясся, значит, шайку погрузил в чан, вынул... караул!

Запрыгали оттуда лягушки, ящерицы... Да на живот мне... да по ногам...

Разве я виноват, читатель! Разве ты не сделал бы то же самое!

*Правдивость рассказа
удостоверяю «Зоркий»*

ПЧ «УЩЕМИЛ»

Теплотехника ст. Обидино С. В. ж. д. постановила:

— Отпускать для бани топлива 0,50.

Но ПЧ-2 распорядился иначе:

— Глупости! Не 0,50, а 0,12! Хватит и этого! Да! Вот еще что! С этой самой секунды пускай служащие сами топят баню. Рабочей силы больше не буду давать.

Теперь, значит, баню можно топить только раз в месяц. Да еще сколько времени надо ухлопать на каждую топку.

Обидинцы горюют.

Мы им сочувствуем и просим у ПЧ объяснений по данному вопросу.

2000 ЧЕЛОВЕК БЕЗ БАНИ

На ст. Гудермес СКОПС — 700 работников транспорта. Вместе с семьями — 2000 человек.

Бани не имеется.

СКОПС, очевидно, и не думает построить ее. Он достаточно ясно намекал на ограниченность своих средств и на жесткое расходование кредитов. Напомним СКОПСу о следующем.

— Ему предоставлено право заключать локальные договоры с октранами, и § 53 пункт «Услуги ПКПС коллективного генер. договора» постройку бань предусматривает.

Пусть СКОПС примет соответствующие меры.

П. К. П.

«РАСПОРЯДИЛСЯ»

— Есть баня на разъезде Ящицы Зап. ж. д.?

— Есть!

— Моются в ней?

— Никак нет!

— ???

— Не удивляйтесь! Баня разрушена. ПЧ-4 «распорядился» ее починить, но не дал материалов.

Мало того, — даже не указал, где их взять.

Вот поэтому рабочие не моются уже 4 месяца. Вот поэтому мы обращаем внимание ПЧ на то, что ему нужно быть более энергичным и распорядительным.

Рабкор 719.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Что делают эти белые голые люди? Почему они сиротливо сидят в предбаннике ст. Мурманск Мурман. жел. дор.?

— Шш! Они ждут горячей воды. Они не уверены, что таковая сегодня будет.

Пожалей их, читатель! Если даже они дождутся этого счастья, им предстоит долгое 2-часовое ожидание в очереди. Ибо, горячая вода в сей бане — на вес золота.

Дело в том, что управление не желает увеличить котлы для нагревания воды.

А это необходимо.

Рабкор 545.

ПЧ-11, ПРИМИ МЕРЫ!

ПЧ-11 Зап. ж. д.! Почему ты не разрешаешь соединить водопроводом баню, находящуюся на ст. Ацвеж, с гидравлической колонкой, которая находится тут же на расстоянии 60 саженей?

Ведь у ПЧ-2 имеются для этой цели трубы и все приспособления.

Они валяются на дворе и ржавеют.

Всей работы здесь — на одну неделю — для одного рабочего.

ПЧ-11! Подумай о том, что двое рабочих таскают воду для бани вручную — за 60 саженей. И таскают ни больше ни меньше как по 100 ведер.

Рабкор 543.

БАННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Халатное отношение администрации к банным неурядицам опирается, очевидно, на летнее время.

Зачем, дескать, баня теперь?

Помылся в речке или в пруду — вот и чист! Вот и правила гигиены и санитарии соблюдены!

Чтобы рассеять это вредное заблуждение, мы дадим небольшую справку из области медицины.

Наше тело дышит не только при помощи легких. Дыхание совершается и через кожу — через бесчисленное множество пор. Через поры же удаляются в виде пота все ядовитые вещества, выделяемые нашим организмом.

Что же наблюдается, если происходит закупорка пор?

Ответом на это служит такой случай.

В средние века, в Риме для украшения одного празднества взяли мальчика и сделали из него золотую статую — позолотили всю поверхность его тела.

И что же? Через некоторое время несчастливый мальчик умер в страшных мучениях. Позолота всей кожи закупорила поры и остановила кожное дыхание и выделение ядовитых веществ организма.

Грязь тоже забивает поры, и выделяемый пот остается там же. Здоровью наносится незаметный, но тяжкий ущерб.

И только горячая вода может восстановить нарушенное кожное дыхание, холодная вода жирного пота не смывает.

Поэтому сторонники холодной воды, они же — банные волокитчики — должны с этим считаться и принять все меры, чтобы рабочие могли пользоваться банями.

М. Мишев

«Гудок», 9 июля 1924 г.



ЗАСЕДАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНА

Новость в два мгновения облетела всю станцию Ново-Бахмутовка: будет заседание не простое, а в присутствии члена Андреевского учкпрофсожа. И в назначенный час зал клуба заполнился пролетарскими лицами членов профсоюза. Возбуждая общее внимание и симпатию, за столом президиума красовался член учкпрофсожа.

Началось честь честью: избрали председателя, и тот, качнувшись, как былинка, и конфузясь, заявил:

— Гм... Таперича, стало быть, секретаря надо.

— Верно! — подтвердили мозолистые глаза в зале: — Васю Гузина!

— Васю так Васю, — сказал председатель и обратился к члену: — Васю хочут?

— Ну и что ж, — ответил член, — пускай. Я против Васи ничего не имею.

— Итак, большинством голосов Васю... — начал председатель.

— Товарищи, — раздался Васин голос, — я покорнейше прошу отказаться, в силу причины малограмотности, так как я только что кончил ликбез.

— Вася, не дрейфь! — загремел зал, — неужто, Вася, ты не можешь скребнуть пером раз пять для общего блага?

И под гром рукоплесканий Вася занял место за столом.

— Первым вопросом у нас стоит, на каком основании поперли со службы дорогих товарищей Дзюбу, Душебу и Самиську без всякого ведома профсоюзов? — заявил председатель, — предлагаю высказывать.

Зал немедленно высказал негодование бурным ропотом.

— Ша, — молвил председатель, — который-нибудь один.
Но встали сразу двое и впереводку высказались:
— Это все мастер!
— ПД-9, чтоб ему ни дна ни покрывки!
— Он, говорит, ваш, говорит, профуполномоченный на
6 месяцев, а я — мастер навсегда!
— Ловко загнул! — грянул зал.
— Прочтите акт № 1.
— Правильно! — крикнул кто-то.
— За № 10 уволили!
— Как это так: правильно?!
— Тише! — погибая в волне народного гнева, взвыл
председатель. — Кто за? Я голосую — прошу поднять руки!
Вася, пиши.

Лес рук поднялся и тотчас же, как подрубленный, опустился.

Вася макнул перо и написал: «Прочтите акт № 1 заслушали за № 10 воздержавшие 6 человек неправильное сокращение ПД-9 Федоренко».

Потом подумал и приписал:

«Разъяснение подтверждено за № 8 Гавриков и Филоннов».

— За что я голосовал?
— Сначала!!
— Объясни, председатель, за что руки поднимать?!
— Ну, сначала, — бледнея, сказал председатель.
— Это что ж такое, — заговорил некто, — разгрузка
земли производилась в праздничный день... Сверхурочные,
а вместо отдыха шиш с маслом?
— Этого мастера в цистерне утопить!!
— Не допускается убийство! — надрываясь, крикнул
председатель.
— Халатный!
— Бузотер!
— Керосин получен, а мы его в глаза не видели!
— А на перегоне сидели без воды 3 месяца!
— А где профуполномоченный?
— А мастер говорит — его во взятке уличил, пять пудов
картофелю!

— Кто кого уличил?!

— Ти-ше! — кричал председатель, утирая пот. — Вася, пиши!

Бледный Вася начал строчить:

Слушали: «Получен материал керосин и другие предметы ПД-9 околodka не отказались».

Постановили: «Керосина не получали недопустимо предъявлено ПД-9 ОП Федоренко».

— Его из союза надо вышибить!

— Кого?!

— Камыш 8 дней на водокачке косили, а он на месте остался!

— Исполатация труда!..

— Горячие у вас парни, — растерявшись, сказал член председателю, — беда!

— Что ж таперича делать? — спросил председатель.

— Ты голосуй, — посоветовал член, — они, может, заткнутся.

— Голосую, товарищи, — заныл председатель.

— За кого? — гремело в зале.

— Ясное дело. Духу чтоб не было!

— Кого?!

— Кто за — тот руку!

— Наоборот: вон его к свињям!

— Которого?

— Федоренкова мастера!

— Ага!

— Кто за то, чтобы его исключить? Раз-два, три... Вася, пиши...

«Исключить за 15 голосов», — написал Вася.

— Ура! Выкинули, — ликовав зал.

— Потрудились, зато очистили союз!

— А теперь что? — спросил председатель у члена.

— Закрывай ты заседание, — ответил тот. — Ну их к Богу.

— Объявляю закрытым! — облегченно крикнул председатель.

— Правильно, — ответил бахмутовский народ, — кощам пора.

И с грохотом зал разошелся.
Вася подумал и написал: «Заседание закрыто 7 часов».
— Молодец, Вася, — сказал председатель и спрятал протокол.

ПРИМЕЧАНИЕ «ГУДКА»:

В основе фельетона — копия протокола заседания членов профсоюза на ст. Н.-Бахмутовка от 19 июня. Протокол этот — верх бестолковщины.

Совершенно непонятно, как могло идти таким образом заседание, на котором присутствовал член Андреевского учкпрофсожа?

«Гудок», 17 июля 1924 г.



ГЛАВПОЛИТБОГОСЛУЖЕНИЕ

Конотопский уисполком по договору 23 июля 1922 г. с общиной верующих при ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужбное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел-дорожная школа.

...Окна церкви выходят в школу.

Из судебной перетиски

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день Параскевы Пятницы и, пьяный, как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

— Отец дьякон! — ахнул настоятель, — ведь это же что такое?.. Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

— Не могу больше, отец настоятель! — взвыл отец дьякон, — замучили, окаянные. Ведь это никаких нервов не х-хва... хва... хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту.

Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу.

— Верите ли, вчера за всенощной разворачиваю требник, а перед глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж... их... до чего доходит? И сам не заметишь, как в ком... ком... мун... нистическую партию уверуешь. Был дьякон, и ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон... он в аду... в гигиене огненной.

— В геенне, — поправил отец-настоятель.

— Один черт, — отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь, — одолел меня бес!

— Много вы пьете, — осторожно намекнул отец-настоятель, — оттого вам и мерещится.

— А это мерещится? — злобно спросил отец-дьякон.

— Владыкой мира будет труд!! — донеслось через открытые окна соседнего помещения.

— Эх, — вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал: — Благослови, владыка!

— Пролетарию нечего терять, кроме его оков!

— Всегда, ныне и присно и во веки веков, — подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знамением.

— Аминь! — согласился хор.

Урок политграмоты кончился мощным пением Интернационала и ектении:

— Весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем...

— Мир всем! — благодушно пропел настоятель.

— Замучили, долгогривые, — захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка, — я — слово, а они — десять!

— Я их перешибу, — похвастался учитель языка и приказал:

— Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

— Попрыгунья стрекоза

Лето красное пропела,

Оглянуться не успела...

— Яко спаса родила!! — грянул хор в церкви. В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

— Ну их в болото, — ошеломленно хихикая, молвил учитель, — довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

— Отец дьякон заболел внезапно и... того... богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

— Благочестив... самодержавнейшему государю наше... Замучили, проклятые!

— Тиш-ша вы, — шипел отец настоятель, — услышит кто-нибудь, беда будет.

— Плевать... — бормотал дьякон, — мне нечего терять...
ик... кроме оков.

— Аминь! — спел хор.

Примечание «Гудка»: В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?

М. Б.

«Гудок», 24 июля 1924 г.



КАК ШКОЛА ПРОВАЛИЛАСЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ

Транспортный рассказ Макара Девушкина

— Это что! — воскликнул известный московско-белорусско-балтийский железнодорожник Девушкин, сидя в пивной в кругу своих друзей, — а вот у нас на Немчиновском посту было происшествие, так это, действительно, номер!

Девушкин постучал серебряным двугривенным по мраморному столику, и на стук прикатил член профессионального союза работников народного питания в белом фартуке.

Добродушная профессиональная улыбка играла на его лице.

— Дай нам, милый человек, еще две парочки, — попросил его Макар Девушкин.

— Больше, чем по парочке, не полагается, — ответил нарпитовец с сожалением.

— Друг! — прочувствованно воскликнул Макар: — Мало ли что не полагается, а ты как-нибудь сооруди! — И при этом Макар еще раз постучал двугривенным.

Нарпитовец вздохнул, искоса глянул на подпись на стене: «Берущий на чай не достоин быть членом профессионального союза».

Еще раз вздохнул, порхнул куда-то и представил две парочки.

— Молодец! — воскликнул Макар, приложился к кружке и начал:

— Дачу бывшего гражданина Сенет знаете?

— Не слышали, — ответили друзья.

— Замечательная дачка. Со всеми неудобствами. Ну-с, забрали, стало быть, эту дачку под школу первой ступени. Главное — местоположение приятное: лесочек, то да се...

нужник, понятное дело, имеется. Одним словом, совершенно пригодная дача, на 90 персон школьников. Но вот водопровода нету! Вот оказия...

— Колодец можно устроить...

— Именно — пустое дело. Вот из-за колодца-то и произошло, и пропала дачка, к свиньям собачьим. Был этот колодец под самым крыльцом, и вот о прошлом годе произошло печальное событие — обвалился сруб.

Нуте-с, заведующий школой бьет тревогу по всем инстанциям нашего аппарата. Туда-сюда... Пишет ПЧ-первому: так, мол, и так, — чинить надо.

ПЧ посылает материал, рабочих. Специальных колодезников пригнали. Ну, те, разумеется, в два момента срубили новый сруб, положили его на венец, и оставалось им, братцы, доделать чистые пустяки — раз плюнуть.

Ан, не тут-то было: вместо того, чтобы тут же взять и работу закончить, а ее взяли да и оставили до весны. Отлично-с.

Весной, как начала земля таять, поползло все в колодец, а колодец 18 саж. глубины! Поехала в колодец и земля, и весь новый деревянный сруб. И в общем и целом провалилось все это. Получилась, друзья мои, глубокая яма, более чем в 3 сажени шириной, и под самой стеной школы.

Школьный фундамент подумал, подумал, треснул в полу вслед за срубом и полез в колодец. Дальше — больше, р-раз! — треснула стена. Из школы все, понятное дело, куда глаза глядят. Прошло еще два дня — и до свидания: въехала вся школа в колодец. Приходят добрые люди и видят: стоит в стороне нужник на 90 персон и на воротах вывеска: «Школа первой ступени», и больше ничего — лысое место!

Так и прекратилось у нас просвещение на Немчиновском посту Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги... За ваше здоровье, товарищи.

Со слов Макара Девушкина
записал *Михаил Б.*

«Гудок», 1 августа 1924 г.



ДОПРОС С БЕСПРИСТРАСТИЕМ

Польские газеты пытаются доказать, что налет повстанцев на Столбцы произведен красноармейцами.

(Из газет)

Тщетно пытались защищаться окруженные со всех сторон повстанцы. Польская жандармерия навалилась дружно, раздавила, и началась расправа и следствие.

— Тю! Бей его! Заходи слева. Хватай. Отрывай ему, сукину сыну, голову. Держи его. Ага! Главарь попался! Ура, ура, ура! Признавайся, зараза, как фамилия?

— Моя-то фамилия? — спросил повстанец, удушенный проворными руками. — Моя фами... пусти глотку... фамилии... Хрр... Хрюсский...

— Врешь!

— Хрюсский.

— Врешь! Врешь!

— Не бей безоружного, — просипел повстанец, — говорю: Хрюсский.

— Признавайся, дьявол, ты из Красной армии?

— Здешний я... да не бейте же, говорить не могу... Из-под Столбцов...

— Вре-е-ешь! Ты из Минска!

— Ничего подобного... в живот не бей...

— Из Минска, пся крев!

— Ну, шут с вами, панове... Хоть из преисподней...

— Ага, заговорил, заговорил! Ты у меня заговоришь.

— Ккк... как же я заговорю, когда ты мне рот кула... кулаком заткнул.

— Убью!! Сколько вас, красноармейцев?

— Да не было их...

— Не было?! Не было?! Не было?!

— Бы... бы...

— Пишите, пан хорунжий: главарь шайки сознался, что

в налете участвовали красноармейцы из Минска. Сколько вас было?

— Трах, трах, трах!

— Ух... тр... тр...

— Тридцать?

— Пишите — триста. Или лучше для ровного счета — три тысячи.

— Буденный участвовал? Молчишь, к-каналья?!

— А вы его шомполом по башке. Сразу заговорит.

— Ух... б... у...

— Ну, вот видите, участвовал. Пишите по показаниям повстанцев, руководил налетом сам Буденный. Эге?! Да, может быть, и Троцкий руководил? Не иначе, Троцкий. Что-то тут сильно Троцкий пахнет. Отвечай!!

— ...

— Не отвечает, негодяй.

— А вы шомпо...

— Пробовал, не помогает.

— Мерзавец! Назло умер. Ну, ладно, убрать его. Давай следующего!

* * *

Телеграмма в польской газете:

«По показаниям пленных повстанцев, налетом на Столбцы руководили большие красноармейские отряды из Минска под начальством самого Буденного. Есть основания полагать, что план налета разработан самим Троцким, который на аэроплане прилетел в Минск».

Эм.

«Гудок», 9 августа 1924 г.



НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ДЕСЯТНИК ЖЕНИЛСЯ?!

(Быт)

...Вы спрашиваете, чего я тоскую? Как же мне не тосковать, гражданин милый, ежели я несправедливо обижен на служебной основе. Влюбился я, товарищ, и, влюбившись, сделал своему предмету предложение руки и сердца и получил согласие, отчего был на седьмом небе. Закупивши все, как полагается, для свадьбы, я ухитрился жениться на своем предмете, не потратив на свадьбу ни одной секунды служебного времени, и между двумя работами проскользнул прямо в медовый месяц, собираясь упиться чашей жизни.

Но не тут-то было! Встречается мне заведующий разработкой ЮЗа Славутского участка гражданин Логинов (я десятником служу) и спрашивает в служебном тоне, побрякивая цепочкой от часов:

— Как вы смели, уважаемый, жениться без моего ведома?

У меня даже язык отнялся. Помилуйте, что я — крепостной? Какое ему дело? Главное, что если б я истратил на женитьбу свои служебные часы или, скажем, напился с товарищами, опозорив профессиональный наш союз. А то я тихо и мирно вступил в брак, как имеет право всякий индивидуум на земном шаре. И мучает раздумье: а если моей жене придет в голову наделить меня потомством в размере одного ребенка — к Логинову бежать?

— Разрешите... А если октябрины? А если теща умрет? Имеет она право без Логинова?

Нет, гражданин, затоскуешь с таким заведующим.

*Со слов десятника записал
Михаил Б.*

«Гудок», 12 августа 1924 г.

ПИВНОЙ РАССКАЗ

Вагон-лавка Киевского ТЕПЕО в течение четырех месяцев привозила только одно пиво.

(Из письма корреспондента)

Вагон-лавку на станции ждали с нетерпением и дождались. Она приехала, и железнодорожники кинулись к ней толпой.

— Сподобились...

Первое, что бросилось в глаза обитателям станции — это лозунг на стене вагона:

«Неприличными словами не выражаться».

А под ним другой:

«Лицам в нетрезвом состоянии ничего не продается».

— Здорово! — изумились железнодорожники. — Ишь, какие лозгуны пошли. Раньше все, бывало, писали «Укрепляй кооперацию», ...или так: «Советская кооперация спасает, как ее... ситуацию, что ли...» Или еще что-нибудь учное... А теперь просто.

— Стало быть, укрепили!

— И, значит, не выражаться матерным образом.

— Пивом, братцы, запахло! Не пойму откуда?

— От Еремкина пахнет, он только что с мастером полдюжины раздавил.

Дверь вагона открылась, и выглянул гражданин кооперативного вида.

— Не напирайте, гражданычки, — попросил он, и от слов его ударила в воздухе столь приятная струя, что Еремкин вместо того, чтобы спросить: «Сапоги есть?» спросил:

— Вобла есть?

— Как же-с, любительская, — радостно ответил кооп-спец.

— Ситцу бы мне.

— Ситцу, извиняюсь, нету.

- Сарпинка, может, есть?
- Сарпинки нету, извиняюсь.
- Бязь?
- Нету бязи, извиняюсь.
- Так что ж есть из материи?
- Пиво бархатное, черное.
- Хо-хо! Позвольте мне полдюжинки.
- Сапоги почему?
- Сапог, извините, нету... Чего-с? Керосин? Не держим. Газолин не держим. Вместо газа могу предложить вам, тетушка, «Стеньку Разина» или «Красную Баварию».
- На что мне твой Разин! Мне для примуса.
- Для примусов ничего не держим.
- Что ж вы, черти полосатые!
- Попрошу вас, бабушка, не выражаться по матушке.
- Взять бы эту бутылку да по голове ваших кооператоров. Тут ждешь товару, а они пойла привезли...
- Пивка позвольте две дюжины.
- Горошку нет ли?
- Пивка!
- Пивка!
- Пивка!
- Пивка!
- Пивка!
- Пивка!

* * *

Вечером, когда станция утонула в пиве по маковку, единственно трезвый корреспондент сидел и при свете луны (в лампу нечего было налить) писал в «Гудок»:

— От имени служащих нашей станции М-К-Вор. ж. д. и косвенно от имени линии прошу «Гудок» понудить спящий учпрофсож-5 и правление кооператива выехать на линию с продуктами. В противном случае выходим из добровольного членства кооперации.

Жирная луна сидела на небе, и казалось, что она тоже выпила и подмигивает.

Михаил Б.

«Гудок», 17 августа 1924 г.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ТРИ ЗАСТЕНКА

1

За 30 коп. Пытка сифилисом. Узкое помещение в недрах учреждений. Снаружи надпись: «Парикмахер». Внутри: «Мастера обеспечены предприятием и на чай не берут». «Берущий на чай недостоин быть членом профессионального союза».

Обеспечивающее предприятие состоит из засиженного мухами зеркала, банки с клоком ваты, пульверизатора и недоделанного привидения с лысиной, небритым лицом и хриплым голосом, живо свидетельствующим о совершенно свежем сифилисе.

Разговор начинает привидение:

— Вам что? Побрить?

— Да.

— Садитесь в кресло.

Из-за ситцевой занавески звук бритвы, шаркающей по ремню, и еще какие-то звуки, чрезвычайно напоминающие тихие плевки на этот ремень.

«Может быть, на мое счастье у него не сифилис. Может быть, он просто простудился?»

— Де... дерет бритва...

— Ну? Чего же ей драть...

Шарк... шарк... шарк...

— Ай! Что же вы мне ухо режете?!

— Прыщик у вас был, я его скovyрнул.

— Йод есть у вас?

— Йоду нету, я вам камнем прижму. Шею брить?

— Не надо.

— Одеколону надо?

— Не надо.

— Пудры надо?

— Не надо.

— Что с волосами делать?

— Ничего, пожалуйста, с ними не делайте. Сколько с меня?

— 30 копеек.

— До свидания.

Ответа нет.

Двадцать дней побрившийся, ежедневно утром и вечером, подходит к зеркалу, подпирает щеку, смотрит. Нетерпеливо ждет сифилиса. Знакомых врачей останавливает, говорит:

— Что поделываете? Погода хорошая. А я, знаете, брился в нашей учрежденческой парикмахерской... Хе-хе... вы извините, что я беспокою. Сифилис не так начинается?

— Мм... это просто ссадина.

— Мерси. Вы извините... я, знаете ли, неврастеник.

— Просто он вам всю морду ободрал.

— Хи-хи. Да, ужасный мерзавец.

На 21-й день побрившийся успокаивается, начинает полнеть.

2

За 1 рубль. Пытка одеколоном. Четыре зеркала, восемь электрических ламп. Пудра, пульверизаторы, зеленый одеколон. Две плевательницы. В дверях беременная женщина в белом халате и с платяной щеткой в руках. Зеленого цвета председатель совета Каменев на первой странице журнала «Огонек». Иногда Каменева временно замещает Буденный или рабочий, бракующий пятаки на монетном дворе.

— Э-э... Долго ждать?

— Пожалте... Пять минут, не больше... Э, что прикажете?

— Побрейте, пожалуйста.

— Жень! При-бор. Из Москвы не уезжаете?

— Мм... нет.

— Бритва не беспокоит?

— Мм... нет, хорошо.

— Что-то давно не видно вас. Мы думали — вы на даче.

— Нет уж, какая тут дача. Денег нет.

— Хе-хе. Факт общего значения. Сами брились?

— Нет, тут меня один негодяй побрил...

— Хи-хи. То-то я смотрю... Лицо освежить?

— Ну, хорошо...

Фр... Фр... Фрр...

— Ух, ух! Жгучий у вас одеколон!

— В глаз попало. В глаз попадет, не дай Бог! Пудру на все лицо?..

— Сколько с меня?

— 85 копеек... Женя. Почистить.

Шарк... шарк...

«Десять или пятнадцать ей? А, черт с ними — 15, как раз рубль».

— До свидания!

— (Хор) До свиданьица!

3

За 3 руб. 50 коп. Пытка роскошью. Девять зеркал. Мраморные подзеркальнички усеяны гранеными флаконами. Машиновые кресла на винтах. Бесчисленные отраженные огни. В двери галуны и потасканная рожа.

— Фуражечку позвольте...

«Попался. Ему, стало быть, двугривенный?..»

«Бритье — 30 коп.».

«Стрижка головы — 50 коп.».

«Ну это еще терпимо... Будет предлагать, подлец, мыть голову — скажу, что еду в баню. Уйти, пока не поздно? Рубля в два, пожалуй, влетит...»

— Чья очередь? Ваша? Прошу вас. Голову мыть будем пиксафоном или шампунем?

«Черт его возьми!»

— Я... в баню... кхм... ну, впрочем, пожалуй... ш... шампунем...

— Мальчик! Для мытья головы!

Электрическая сушилка с горячим воздухом, белый пла-

ток — в зеркале бедуин. Гм... сколько может стоять мытье?..
Гм... таблицы не видно...

— У вас кожа нежная... Горячий компресс следует. Для компресса! Бриолином позвольте?

«Господи! Сколько бриолин?»

По бровям ходит щеточка.

— Про-шу вас.

— Сколько с меня?

— Три рубля-с.

— Кхм...

— В кассу, пожалуйста. Получите три рубля. — До кассы неотступная белая тень. Что хочет тень? Полтинник тени — она недостойна быть членом профессионального союза! Это видно по ее глазам. И этому — двугривенный. Галуны окайненные! Была пятерка. Стало рубль тридцать. Вон отсюда! И навсегда.

«Бакинский рабочий».

18 августа 1924 г.



КАК БОРОТЬСЯ С «ГУДКОМ», ИЛИ ИСКУССТВО ОТВЕЧАТЬ НА ЗАМЕТКИ

Краткое руководство для администрации

ПЕРЕПИСКА НАСЧЕТ ГРЯЗИ

Что отвечать, если напишут, что на каком-нибудь вокзале очень грязно?

Отвечать нужно так, как ответил санитарный врач 1-го района Моск.-Казанской ж. д.:

«Понятие о грязи субъективное, и хотя вследствие многих дефектов еще недостроенного вокзала нельзя утверждать о его действительной чистоте, то до грязи, с моей точки зрения, еще далеко».

Когда в «Гудке» получили этот ответ, то двух сотрудников сразу хватил паралич, так что они больше писать ничего не будут.

Оставшиеся в живых создали общее собрание для решения следующих вопросов:

1. С какого момента кончается грязь «субъективная» и начинается грязь вокзальная с плевками, похожими на двугривенные, и с окурками и всякой слякотью?

2. На какую высоту напакостить на вокзале, чтобы санитарный врач убедился, что «до грязи», с его точки зрения, «близко»:

- а) по щиколотку
- б) по колено
- в) или по пояс.

Этих вопросов так и не решили. Вся надежда на санитарного врача, что он сообщит.

2000 ЗУБОВ

Написали в «Гудке», что железнодорожнику Кузнецову, несмотря на постановление зубкомиссии, зубы не вставляют.

Что бы такое в ответ написать?

Дозрав Моск.-Казанской ответил:

«Кузнецову постановлено вставить искусственные зубы во вторую очередь».

Ликуй, Кузнецов! Будешь ты с зубами. Посто... постой, Кузнецов, постой... Плачь, Кузнецов! Дальше вот что написано: «Кроме того, дозрав считает необходимым сообщить, что протезирование ограничено 500 зубами при наличии нужды на первое августа в 2000 зубов».

ПИРОЖОК НИ С ЧЕМ

Напишут, например, что какая-нибудь работа на дороге не производится, волокита, то да се, вообще — неприятная заметка.

Орлово-Витебская служба администрации на такие заметки хорошо умеет отвечать:

«Хотя в настоящее время на эту работу кредит получен, но так как он деньгами не обеспечен, то фактически ничего пока сделать нельзя».

Да, на такой ответ крыть нечем.

Кредит без денег все равно что пирожок ни с чем.

— Знаете что, орлово-витебские? Постарайтесь получить кредит с деньгами.

КРУЖКИ НА ПРИВЯЗИ

Один корреспондент занялся вопросом о том, почему на станции Люблино-Дачное нету кружек для воды.

Ответ пришел «тридцать три моментально», как говорил Антон Павлович Чехов:

«Хозяйственно-материальный отдел не имел запаса кружек с цепочками, а без цепочек кружек оставлять нельзя».

Вы заведите цепочки, братцы!

«ДС Люблино получил три кружки с цепочками».

Ура, ура, ура. Пейте на здоровье.

М.

«Гудок», 20 августа 1924 г.

КАК, ИСТРЕБЛЯЯ ПЬЯНСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРАНСПОРТНИКОВ ИСТРЕБИЛ!

Плачевная история

Из комнаты с надписью на дверях: «Без доклада не входить» — слышался треск.

Это председатель учпрофсожа ломал себе голову, размышляя о вреде пьянства.

— Ты пойми, — говорил он, крутя за пуговицу секретаря, — что все наши несчастья от пьянства. Оно разрушает союзную дисциплину, угрожает транспорту, в корне подрывает культурно-просветительную работу, как таковую, и разрушает организм. Верно я сказал?

— Совершенно верно, — подтвердил секретарь и добавил: — До чего вы умны, Амос Федорович, даже неприятно!!

— Ну, вот видишь. Стало быть, перед нами задача, как эту гидру пьянства истребить.

— Трудное дело, — вздохнул секретарь, — как ее, проклятую, истребишь?

— Нужно, друг! Не беспокойся: я вырву наших транспортников из когтей пьянства и порока, чего бы мне это ни стоило! Уж я придумаю.

— Вас на это взять, — льстиво сказал секретарь, — вы хитрый.

— Вот то-то.

И, сев думать, председатель подумал каких-нибудь 16 часов, но зато придумал изумительную штуку.

* * *

Через несколько дней во всех погребках, пивных и тому подобных влажных заведениях появилось объявление:

«Хозяева, имейте в виду, что транспортники некредитоспособны. Так что им ничего не отпускать».

Эффект получился действительно неожиданный.

★ ★ ★

— Здравствуй.

— Здравствуй, — хмуро ответил хозяин.

— Что ж это у тебя такая кислая физиономия? Ну-ка, сооруди нам две парочки.

— Нету парочек.

— Как нету? Ну, ты что, очумел?

— Ничего не очумел. Деньги покажи.

— Ты смеешься, что ли? Завтра жалование получу, отдам.

— Нет. Может быть, у тебя никакого жалования нету.

— Ты спятил? У меня нету?! Да ты что, меня не знаешь?

— Очень хорошо знаю. Ты некредитоспособный.

— А я вот как тебе по уху дам за эти слова...

— Ухо в покое оставь. Читай надпись...

Транспортник прочитал и окаменел.

★ ★ ★

— Бутылочку пива!

— А вы кто?

— Тю! Не узнал. Помощник начальника станции.

— Тогда пива нету.

— Как нету? А это что в корзинах?

— Это касторка.

— Да что ты врешь! Вот двое твоей касторки напились, песни поют.

— Это не такие.

— Какие ж они?

— Они почище. Деревообделочники.

— Ах ты, гадука! Какое же ты имеешь право нас, транспортников, оскорблять!

— Объявление почитайте.

— Здравствуй, Абрам. Материю принес. Сшейте, мой друг, мне штаны.

— Деньги вперед.

— Какие деньги? У тебя же объявление висит: «Членам союза широкий кредит».

— Это не таким членам. Транспортникам — шиш с маслом.

— Пач-чему???

— А вон ваш председатель развесил объявление в пивнушках...

* * *

— Манька! Беги в лавку, возьми керосину на книжку... Ну, что?

— Хи-хи. Не дают.

— Как не дают?

— Так, говорят, транспортникам, говорят, не даем. Они, говорят, не способны...

* * *

— Дай, Федор Петрович, пятерку до среды, в субботу отдам.

— Не дам...

— На каком основании отказываешь лучшему другу?

— Ты некредитоспособный.

* * *

Через две недели по всей территории учпрофсожа стоял вой транспортников. И неизвестно, чем бы все это кончи-

лось, если бы из дорпрофсожа не прислали в учпрофсоюз письмо:

— Дорогой Амос Федорович! Уберите ваши объявления к свиньям. Против пьянства они не помогают, а только жизнь портят.

Подпись.

Смутился Амос Федорович и объявление снял.

М. Б.

«Гудок», 20 августа 1924 г.



БРАЧНАЯ КАТАСТРОФА

Следующие договоры признаются обеими сторонами, как потерявшие силу: 1) договор: бракосочетание Е. К. В. герцога Эдинбургского. С.-Петербург, 22 января 1874 г.

(Выдержка из англо-советского договора)

Новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

1

Через три дня по опубликовании в газете «Руль» появилось сообщение:

«Нам сообщают из Москвы, что расторжение договора о браке его королевского высочества вызвало грандиозное возмущение среди московских рабочих и в особенности транспортников. Последние всецело на стороне симпатичного молодожена. Они проклинают Раковского, лишившего герцога Эдинбургского возможности продолжать нести сладкие цепи Гименея, возложенные на его высочество в г. С.-Петербурге 50 лет тому назад. По слухам, в Москве произошли беспорядки, во время которых убито 7000 человек, в том числе редактор газеты «Гудок» и фельетонист, автор фельетона «Брачная катастрофа», напечатанного в № 1277 «Гудка».

2

Письмо, адресованное Понсонби:

Свинья ты, а не Понсонби!

Какого же черта лишил ты меня супруги? Со стороны Раковского это понятно — он большевик, а большевика хлебом не корми, только дай ему возможность устроить какую-нибудь гадость герцогу. Но ты?!

Вызываю тебя на дуэль.

Любящий герцог Эдинбургский.

Разговор в спальне герцога Эдинбургского:

С у п р у г а. А, наконец-то ты вернулся, цыпочка. Иди сюда, я тебя поцелую, помпончик.

Г е р ц о г (*крайне расстроен*). Уйди с глаз моих.

С у п р у г а. Герцог, опомнитесь! С кем вы говорите? Боже, от кого я слышу эти грубые слова? От своего мужа...

Г е р ц о г. Фигу ты имеешь, а не мужа...

С у п р у г а. Как?!

Г е р ц о г. А вот так (*показывает ей договор*).

С у п р у г а. Ах! (*падает в обморок*).

Г е р ц о г (*звонит лакею*). Убрать ее с ковра.

(Занавес.)

Эм.

«Гудок», 23 августа 1924 г.

«Руль» — эмигрантская газета, выходившая в Берлине с 1920 года под руководством известных деятелей партии кадетов В. Д. Набокова, И. В. Гессена, проф. А. И. Каминки.

Раковский Х. Г. (1872—1941) — партийный и государственный деятель СССР.



ДОКУМЕНТ-С

(Выдержка из объявления)

**ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА КЛУБА ИМЕНИ ДОГАДОВА
В ПЯТНИЦУ 22 АВГУСТА**

Антирелигиозный вечер

1. Доклад.

2. Выступление нашего струнного оркестра.

Приходите к 7 часам вечера, так как мало одного неверия, оно должно покоиться на научном фундаменте.

Каждый из вас может и должен сделаться (по многим причинам) *второе (!)* сильнее. Сила создает энергию и бодрость. Нервы окрепнут. Работоспособность повысится. Все это через физкультуру. *Физкультура для всех возрастов не препятствие (!).*

Мы постоянно боремся — исход борьбы зависит от наличия *физических и психических* сил у каждого.

Взрослые за физкультуру.

Никогда не поздно.

КЛУБ ИМЕНИ ТОВ. ДОГАДОВА.

В воскресенье, 31 августа, снова экскурсия. Кто не был с нами в Будровицах 15 августа, должен об этом пожалеть.

Было разумно, хорошо и весело.

Справки от 25 августа после 2-х часов в правлении клуба у тов. Дырдова.

**ФИЗКУЛЬТУРА
ЩИТ
ОТ
СТАРОСТИ**

Правление.

Тираж 200
№ 560

* * *

Ясное дело, что сухие и шаблонные объявления о клубной работе отпугивают от нее членов профсоюза. Но излишек развязности, несомненно, тоже вредит.

«Каждый из вас может и должен сделаться (по многим причинам) втрое сильнее. Сила создает энергию и бодрость, нервы окрепнут, работоспособность повысится»... Все это до чрезвычайности напоминает объявления в американских газетах, где каждый за полтора доллара, присланные почтовыми марками, может обрести силу внутри себя. И почему человек, который придет на летнюю площадку клуба, станет именно втрое сильнее, а не вчетверо?

Одним словом, товарищи, так составлять объявления нельзя!

Развязно и непонятно.

М.

«Гудок», 23 августа 1924 г.



ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ

Дневник гениального гражданина Полосухина

21 ноября.

Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нет. Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пушай пока повременит, не выезжает. У Карабуева три ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у Щуевского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна.

23 ноября.

Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на А, шесть кругов проездил — кондукторша пристала: «Куды вы, гражданин, едете?» — «К чертовой матери, — говорю, — еду». В самом деле, куды еду? Никуды. В половину первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина.

24 ноября.

Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали.

27 ноября.

Пристал как банный лист — почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф, я и не пою. Напоил его чаем — отцепился.

2 декабря.

Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяла расстелили — как в первом классе.

7 декабря.

Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали. Электричество — не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла — купили у нее всю кнжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез — ужаснулся. Говорю, извините, никакого правонарушения нету. Заплочено — и ездим. Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арbate, а потом поехали к Страстному монастырю.

8 декабря.

Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27 номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. Другую в вагоне, третью кондукторше — симпатичная — свой человек — на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай Бог каждому такую квартиру.

11 декабря.

Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться, смотрю — в 6-м номере с Тверской поворачивает Щуевский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере удобно. Служба на Мясницкой.

12 декабря.

Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя — называют — гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь на Арbate, хочешь у Страстного.

20 декабря.

Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Цельюсь переехать в 4-й номер двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен.

21 декабря.

Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорят, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь. А она тут...

Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-дневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману школа I степени имени Луначарского.

23 декабря.

Уезжаю обратно в Елабугу...

М. Олл-Райт.

Ж. «Запоза», № 9, 1924 г.

При жизни писателя издан в сборнике: М. Булгаков. «Смехач» № 15. Юмористическая иллюстрированная библиотека. Ил. Н. Радлова, Л., 1926.



СОТРУДНИК С МАССОЙ, ИЛИ СВИНСТВО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

(Рассказ-фотография)

Дунька прилетела как буря.

— Товарищ Опишков-е-е, — выла Дунька, шныряя глазами. — Где ж он? Товари...

Басистый кашель раздался с крыльца, и т. Опишков, подтягивая пояс на кальсонах, предстал перед Дунькой.

— Чего ты орешь как скаженная? — спросил он, зевая.

— Кличут вас, — объяснила Дунька, — идите скорейча, ждуть!

— Которые ждуть? — беспокойно осведомился Опишков.

— Собрание... Народу собравшись видимо-невидимо!..

Товарищ Опишков плюнул с крыльца.

— Тьфу, черт! Я думал, что... Приду сейчас, скажи.

— Чай-то пить будешь? — спросила супруга.

— А, не до чаю мне, — забубнил Опишков, надевая штаны, — масса ждет, чтоб ей ни дна ни крышишки... Мне эта масса вот где сидит (тут Опишков похлопал себя по шее). Какого лешего этой массе... — Голос Опишкова напоминал отдаленный гром или телегу на плотине... — Масса... У меня времени нету. Делать им нечего...

Опишков застегнул разрез.

— Придешь-то скоро? — спросила супруга.

— Чичас, — отозвался Опишков, стуча сапогами по крыльцу, — я там прохлаждаться не буду... с этой массой...

И скрылся.

В зале, вместившем массу транспортников 3-го околотка 1 участка, при появлении тов. Опишкова пролетело дуновение и шепот:

— Пришел... пришел... Пе-Де... глянь...

Председатель собрания встал навстречу Опишкову и нежно улынулся.

— Очень приятно, — сказал он.

— Бур... бур... бур... — загромыхал в ответ опишковский бас. — Чего?

— Как чего? — почтительно отозвался председатель. — Доклад ваш... Хе-хе...

— Да-клад? — изумился Опишков. — Кому доклад?

— Как кому? Им, — и председатель махнул в сторону потной массы, грозящейся в рядах.

— Вр... пора... гу... гу... — зашевелилась и высморкалась масса.

Кислое выражение разлилось по всему лицу Опишкова и даже на куртку сползло.

— Ничего не пойму, — сказал он, кривя рот, — зачем это доклад? Гм... Я доклады делаю ежедневно Пе-Че, а чего еще этим?..

Председатель густо покраснел, а масса зашевелилась. В задних рядах поднялись головы...

— Нет уж, вы, пожалуйста, — забормотал председатель, — Пе-Че само собой, а это, извините за выражение, само собой, потрудитесь...

— Гур... Гур... — забурчал Опишков и сел на стул. — Ну, ладно.

В зале сморкнулись в последний раз.

— Тиш-ше! — сказал председатель.

— Гм, — начал Опишков, — ну, стало быть... чего же тут говорить... ну, сделано 3 версты разгонки.

В зале молчали, как в гробу.

— Ну, — продолжал Опишков, — шпал тыщу штук сменили.

Молчание.

— Ну, — продолжал Опишков, — траву пололи.

(Молчание.)

— Ну, — продолжал Опишков, — путь, как его, поднимали.

Молчание нарушил тонкий голос:

— Ишь, трудно ему докладывать. Хучь плачь!

И опять смолкло.

— Ну? — робко спросил председатель.

— Что «ну»? — спросил Опишков, заметно раздражаясь.

— А сколько это стоило и вообще, извиняюсь, какая продолжительность, как говорится, и прочее... и прочее...

— Я не успел это подготовить, — отозвался Опишков голосом из подземелья.

— Тогда, извиняюсь, нужно было предупредить... ведь мы же просили, извиняюсь.

Опишковское терпение лопнуло, и лицо его стало такого цвета, как фуражка начальника станции.

— Я, — заорал Опишков, — вам не подчиняюсь!..

(В зале гробовое молчание.)

— Ну вас к Богу!.. Надоели вы мне, и разговаривать я с вами больше не желаю, — бухнул Опишков и, накрывшись шапкой, встал и вышел.

Гробовое молчание царило три минуты. Потом прорвало.

— Вот так клюква! — пискнул кто-то.

— Доложил!

— Обидели Опишкова...

— Вот так свинство учинил!

— Что же это, стало быть, он плювает на нас?!

Председатель сидел, как оплеванный, и звонил в колокольчик. И чей-то рабкоровский голос покрыл гул и звон:

— Вот я ему напишу в «Гудок»! Там ему загнут салазки!! Чтоб на массу не плювал!!

Эм.

«Гудок», 29 августа 1924 г.



ТРИ КОПЕЙКИ

Старший стрелочник станции Орехово явился получать свое жалованье.

Платательщик щелкнул на счетах и сказал ему так:

— Жалованье: вам причитается — 25 р. 80 коп. (щелк)!

— Кредит в ТПО с вас 12 р. 50 коп.

«Гудок» — 65 коп. (щелк).

Кредит Москвошвей — 12 р. 50 коп.

На школу — 12 коп.

Итого вам причитается на руки (щелк! щелк!).

Т-р-и к-о-п-е-й-к-и.

По-лу-чи-те.

Стрелочник покачулся, но не упал, потому что сзади него вырос хвост.

— Вам чего? — спросил стрелочник, поворачиваясь.

— Я — МОПР¹, — сказал первый.

— Я — друг детей, — сказал второй.

— Я — касса взаимопомощи, — третий.

— Я — профсоюз, — четвертый.

— Я — Доброхим, — пятый.

— Я — Доброфлот, — шестой.

— Тэк-с, — сказал стрелочник. — Вот, братцы, три копейки, берите и делите, как хотите.

Тут он увидел еще одного.

— Чего? — спросил стрелочник.

— На знамя, — ответил коротко спрошенный.

Стрелочник снял одежду и сказал:

¹ МОПР — Международная организация помощи борцам революции. (Прим. составителя.)

— Только сами шейте, а сапоги жене.
И еще один был:
— На бюст! — сказал еще один.
Голый стрелочник немного подумал, потом сказал:
— Берите, братцы, вместо бюста меня. Поставьте на подоконник.
— Нельзя, — ответили ему, — вы — непохожий.
— Ну, тогда как хотите, — ответил стрелочник и вышел.
— Куда ты идешь голый? — спросили его.
— К скорому поезду, — ответил стрелочник.
— Куды ж поедешь в таком виде?
— Никуды я не поеду, — ответил стрелочник, — посижу до следующего месяца. Авось начнут вычитать по-человечески. Как указано в законе.

«Гудок», 3 сентября 1924 г.



РЕ-КА-КА

На станции Тюшки Юго-западных дорог в глухой и ненастный вечер 14 октября 1923 года произошло происшествие. Шел мимо Тюшек поезд № 7, и машинист высунулся, чтобы ухватить обруч с путевой. Но ввиду того, что в Тюшках, конечно, тьма полная, машинист ухватил вместо обруча самого помощника начальника станции Тюшки гражданина Пугача и разорвал собственную его гр. Пугача тужурку вдребезги.

Когда гр. Пугач прибыл к домашнему очагу, жена ему сказала так:

— Спасибо, что хоть штаны в целости принес. Служака!

Прошло много месяцев, в течение которых Пугач тосковал по своей тужурке.

Однажды весною 1924 г. неизвестный, с которым Пугач поделился своим горем, сказал ему:

— Чудак ты! Ты слышал, что такое РЕ-КА-КА?

— Нет, — чистосердечно признался Пугач.

— У-у, у-у! Это, брат, — штука изумительная. Для разбора всяких дел существует. Ты двинь туда жалобу. Так, мол, и так: при исполнении служебных обязанностей... Проходящего поезда № такой-то машинист вместо обруча пронзил меня, и вот, мол, пожалте десять целковых за тужурку.

— Неужели дадут? — усомнился Пугач.

— Вот чудак. Обязательно дадут. Нет такого закона, чтобы тужурки рвать. А то сегодня он тебе тужурку, а завтра ухо или руку оборвет. Так нельзя ездить.

— Понятное дело — это свинство, а не езда, — согласился Пугач.

Подзудил Пугача собеседник настолько, что тот написал

жалобу. И ровно 8 месяцев спустя после происшествия получился на свет замечательный акт из Ре-Ка-Ка:

«1924 года, мая 8 дня мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что председатель РКК гр. Маркевич сделал обследование во ст. Тюшки по случаю ДСП гр. Пугача от 14 октября прошлого года. Установили, что гр. Пугач к поезду № 7 подавал разрешение на обруче, но ввиду темноты помощник машиниста не пронзил руки в центр обруча, пустил руку мимо и ударь его в грудь и упал на землю.

В данное время в конторе ВС обручи имеются в количестве пять штук.

Подписи.

*Председатель РКК Маркевич.
ДС (подпись неразборчива).
ДСП Пугач».*

Когда Пугач пришел домой, жена спросила:

— Поздравляю тебя, Пугач, с получением десяти целковых.

Пугач ответил:

— Отстань ты от меня! Никаких десять целковых не дали, а дали акт.

— Ну, что же в акте?

— Ничего я не понял, что в акте, — ответил Пугач, — и вообще отцепись от меня.

С тех пор Пугачу проходу не было. Все поздравляли с получением, так что он в конце концов стал злиться.

Корреспондент сочинил по этому поводу блестящие стихи:

Коль скоро речь об обручах идет,
То дело ДСП решения подождет.
Пока он не найдет по несчастью друзей
От количества всех пяти штук обручей.
А вот порвал ли ДСП тужурку иль не рвал,
Об этом акт ни слова не сказал!
Разберется об этом деле ДОРПК,
Не подумали об этом ни ДС, ни председатель РКК.

«Гудок», 5 сентября 1924 г.



ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ

Рассказ члена профсоюза

Приехали мы в Ленинград, в командировку, с председателем нашего месткома.

Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:

— Знаешь что, Вася? Пойдем в Народный дом.

— А что, — спрашиваю, — я там забыл?

— Чудак ты, — отвечает мне наш председатель месткома, — в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса Труда (председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы).

Ладно. Мы пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым долгом, мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо, и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя ко всем чертям каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева, со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой.

Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили

бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате, председатель же перенес.

Но когда мы вышли, я сказал ему:

— Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения № 98.

А он сказал:

— Раз уж мы пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию.

И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:

— Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества — подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и, секретно, беременным.

Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письма. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек не только 2500 лет, но даже в 100 лет.

Молодой человек вежливо пригласил:

— Задавайте ей вопросы. Попроще.

И тут председатель вышел и спросил:

— А на каком языке задавать? Я египетского языка не знаю.

Молодой человек, не смущаясь, отвечает:

— Спрашивайте по-русски.

Председатель откашлялся и задал вопрос:

— А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?

И тут мумия побледнела и сказала:

— Я училась на курсах.

— Тэк-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?

Мумия заморгала глазами и молчит.

Молодой человек кричит:

— Что же вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?

А председатель начал крыть беглым:

— А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?

Мумия заплакала. Говорит:

— Я была сестрой милосердия.

— А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой тов. Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?

Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса:

— Он умер!

А председатель рявкнул:

— Нет! Он живет в сердцах пролетариата.

И тут свет потух, и мумия с рыданиями исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:

— Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии.

И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качания, и мы выехали из Народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.

Ж-л «Смехач», 1924, № 16, 10 сентября.

При жизни писателя издан в сборнике: М. Булгаков. «Смехач» № 15. Юмористическая иллюстрированная библиотека. Ил. Н. Радлова, Л., 1926.

Стучка П. И. (1865—1932) — советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1895 г. Юрист. Участник революции 1905—1907 гг. С 1917 года нарком юстиции. Занимал и другие крупные государственные должности в РСФСР и СССР.



ИГРА ПРИРОДЫ

А у нас есть железнодорожник с фамилией
Врангель...

(Из письма рабкора)

Дверь, ведущую в местком станции М., отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека.

Предместком, сидящий за столом, окинул вошедшего взглядом и подумал: «Экий бравый»...

— А вам чего, товарищ? — спросил он.

— В союз желаю записаться, — ответил визитер.

— Тэк-с... А вы где работаете?

— Да я только что приехал, — пояснил гость, — весовщиком сюда назначили.

— Тэк-с. Ваша как фамилия, товарищ?

Лицо гостя немного потемнело.

— Да фамилия, конечно... — заговорил он, — фамилия у меня... Врангель.

Наступило молчание. Предместком уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака.

— А имя и, извините, отчество? — спросил странным голосом.

Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил:

— Да, имя... ну, что имя, ну, Петр Николаевич.

Предместком привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, с Врангеля на дверной ключ, с ключа косо на телефон. Потом вытер пот и спросил сипло:

— А скудова же вы приехали?

Пришелец вздохнул так густо, что в предместкоме шевельнулись волосы, и молвил:

— Да вы не думайте... Ну, из Крыма...

Словно пружина развернулась в предместкоме.

Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез.

— Так я и знал! — кисло сказал гость и тяжело сел на стул.

Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместком, с глазами, сияющими как звезды, летел через зал 3 класса, потом через 1-й класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играли краски. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом:

— Беги, беги в месткоме дверь покарауль! Чтоб не ушел!..

— Кто?!

— Врангель!..

— Сдурел!!

Предместком ухватил носильщика за фартук и прошипел:

— Беги скорей, дверь покарауль!..

— Которую?!

— Дурында... Награду получишь!..

Носильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то вбок... за ним — второй.

Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа. В толпу клином врезался предместком, потный и бледный, а за ним двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе, и первый звонко покрикивал:

— Ничего интересного, граждане! Попрошу вас очистить помещение!.. Вам куда? В Киев? Второй звонок был. Попрошу очистить...

— Кого поймали, родные?

— Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить...

— Деникина словил месткомщик!..

— Дурында, это Савинков ушел... А его залопали у нас!

— Я обнаружил его по усам, — бормотал предместком человеку в фуражке, — глянул... Думаю, батюшки — он!

Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец...

Глянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку.

— Двери закрыть!.. Ваша фамилия?

— Да Врангель же... да я ж говорю...

— Ага!

Форменные фуражки мгновенно овладели телефоном.

Через пять минут перед дверьми было чисто от публики и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, прищелец и бормотал:

— Вот, твоя воля... замучился... В Херсоне водили... в Киеве водили... Вот горе-то... В Совнарком подам, пусть хоть какое хочут название дадут...

— Я обнаружил, — бормотал предместком в хвосте, — батюшки, думаю, усы! Ну, у нас это, разумеется, быстро, по-военному: р-раз — и на ключ. Усы — самое главное...

* * *

Ровно через три дня дверь в тот же местком открылась и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная.

Предместком встал и вытаращил глаза.

— Э... вы?

— Я, — мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул бумагу. Предместком прочитал ее, покраснел и заявил:

— Кто ж его знал... — забормотал он... — гм... да, игра природы... Главное, усы у вас, и Петр Николаевич...

Вошедший мрачно молчал...

— Ну что ж... Стало быть, препятствий не встречается... Да... Зачислим... Да, вот, усы сбили меня...

Вошедший злобно молчал.

* * *

Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасев подошел к мрачному Врангелю с целью пошутить.

— Здравия желаю, ваше превосходительство, — заговорил он, взяв под козырек и подмигнув окружающим, — ну, как изволите поживать? Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в Ресефесере?

— Отойди от меня, — мрачно сказал Врангель.

— Сердитый вы, господин генерал, — продолжал Карасев, — у-у, сердитый. Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это просто, взял пролетария...

Врангель размахнулся и ударил Карасева в зубы так, что с того соскочила фуражка.

Кругом засмеялись.

— Что ж ты бьешься, гадюка перекопская? — сказал дрожащим голосом Карасев. — Я шутю, а ты...

Врангель вытащил из кармана бумагу и ткнул ее в нос Карасеву. Бумагу облепили и начали читать:

...«Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, прошу мне роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов...»

Сбоку было написано химическим карандашом «удовлетворить».

— Свинья ты... — заныл Карасев. — Что ж ты мне ударил?

— А ты не дражни, — неожиданно сказали в толпе. — Иванов, с тебя магарыч!

«Гудок», 13 сентября 1924 г.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — барон, генерал-лейтенант. В период гражданской войны — один из организаторов Добровольческой армии; с 1920 года — главнокомандующий Русской армии в Крыму. После падения Крыма эмигрировал. В 1924—1928 гг. — председатель «Русского общевосточного союза» (РОВС).



УВЕРТЮРА ШОПЕНА

Неприятный рассказ (по материалам рабкора)

— Какой негодяй распустил слух, что наш клуб никуда не годится? — воскликнул завклубом.

— Это враги наши говорят; — ответил член правления Колотушкин.

— Свиньи, свиньи, — качая головой, заметил заведующий, — вот-с, не угодно ли: приход от платных спектаклей — 248 р. 89 к., а расход — 140 р. 89 к. В остатке, стало быть, 109 рубликов чистой пользы. И не будь я заведующий, если я их не употреблю...

Тут дверь открылась и вошел заведующий передвижным театром.

— Драсте, — сказал он. — Братцы, сел я в лужу. Нету у меня денег. Пропал я! Застрелюсь я!..

— Не делай этого, — ужаснулся заведующий, — твоя жизнь нужна родине. Сколько тебе нужно?

— 10 рублей, или я отравлюсь цианистым калием.

— На, — сказал великодушный заведующий, — только не губи свою душу. И пиши расписку.

Завтеатром сел и написал:

«Прошу 10 рублей до следующего моего приезда в Себеж».

А заведующий написал: «Выдать».

— Вы спасли мне жизнь! — воскликнул театральщик и исчез.

Засим пришел гражданин Балаболин и спросил:

— Вербку от занавеса не дадите ли мне, друзья, на полчаса?

— Зачем? — изумились клубные.

— Повешусь. Имею долг честн, а платить нечем.

— Пиши!

Балаболин написал:

«Прешу на два дня»...

Получил резолюцию Колотушкина и пять рублей и исчез.

Пришел Пидорин и написал:

«До получения жалования»...

Получил 30 рублей и исчез.

Пришел Елистратов с запиской от Пидорина, написал:

«В счет жалования»...

И, получив 20 рублей, исчез.

Затем пришел фортепьянный настройщик и сказал:

— На вашем фортепьяне, вероятно, ногами играли или жезлами путевыми. Как стерва дребезжит.

— Что ты говоришь? — ужаснулись клубники. — Чини его скорей!

— 55 рублей будет стоить, — сказал мастер.

Написали смету, а в конце приписали:

«По окончании ремонта заставить настройщика сыграть увертюру Шопена и на дорогу выпить добрую чарку».

Не успел фортепьянщик доиграть Шопена и допить чарку, как открылась дверь и ввалилось сразу несколько:

— Нету, нету больше, — закричал заведующий и зама- хал рукой, — чисто!

— Нам и не надо, — гробовым голосом ответили ввалив- шиеся и добавили: — Мы ревизионная комиссия.

Наступило молчание.

— Это что? — спросила комиссия.

— Расписки, — ответил зав и заплакал.

— А это кто?

— Фортепьянщик, — рыдая, ответил зав.

— Что ж он делает?

— Увертюру играет, — всхлипнул зав.

— Довольно, — сказала комиссия, — увертюра кончена, и начинается опера.

— К-какая? — пискнул зав.

— «Клубные безобразники», — ответила комиссия. — Слова Моссельпрома, музыка Корнеева и Горшанина.

И при громких рыдающих клубных села писать акт.

Эм.

«Гудок», 17 сентября 1924 г.

КОЛЫБЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ

Спи, младенец мой прекрасный!
Баюшки, баю...
Тихо светит месяц ясный
В колыбель твою.

(Лермонтов)

Спи, мой мальчик,
Спи, мой чиж,
Мать уехала в Париж.

(Из соч. Саши Черного)

— Объявляю общее собрание рабочих и служащих ст. Щелухово Каз. дороги открытым! — радостно объявил председатель собрания, оглядывая зал, наполненный преимущественно рабочими службы пути. — На повестке дня у нас стоит доклад о неделе войны 1914 года. Слово предоставляется тов. Де-Эсу. Пожалуйста, тов. Де-Эс!

Но тов. Де-Эс не пожаловал.

— А где же он? — спросил председатель.

— Он дома, — ответил чей-то голос.

— Надо послать за ним.

— Послать обязательно, — загудел зал. — Он интересный человек: про войну расскажет — заслушаешься!

Посланный вернулся без товарища Де-Эса, но зато с письмом. Председатель торжественно развернул его и прочитал:

«В ответ на приглашение ваше от такого-то числа сообщая, что явиться на собрание не могу. Основание: лег спать».

Председатель застыл с письмом в руке, а в зале кто-то заметил:

— Фициально ответил!

— Спокойной ночи!

— Какая же ночь, когда сейчас 5 часов дня?..

Председатель подумал, посмотрел в потолок, потом на свои сапоги, потом куда-то в окно и объявил печально:

— Объявляю заседание закрытым.

А в зале добавили:

— Колыбель начальника станции есть могила общего собрания.

И тихо разошлись по домам.

Аминь!

Михаил Б.

«Гудок», 24 сентября 1924 г.



НЕ СВЫШЕ

На станции Бирюлево Ряз.-Ур. ж. д. рабочие постановили не допускать торговлю вином и пивом в кооперативе, в котором наблюдается кризис продуктов первой необходимости.

Рабкор

- Не хочу!
- Да ты глянь, какая рябиновая. Крепость не свыше, выпьешь новинку, закусишь, не будешь знать, где ты — на станции или в раю!
- Да не хочу я. Не желаю.
- (Пауза.)
- Масло есть?
- Нету. Кризис.
- Тогда вот что... Сахарного песку отведь.
- На следующей неделе будет...
- Крупчатка есть?
- Послезавтра получим.
- Так что же у вас, чертей, есть?
- Ты поосторожней. Тут тебе кооператив. Чертей нету. А, вот, транспорт вин получили. Такие вина, что ахнешь. Государственных подвалов Азербайджанской республики. Автономные виноградники на Воробьевых горах в Москве. Не свыше! Херес, портвейн, мадера, аликанте, шабли типа бордо, мускат, порто-франко порто-рико... № 14...
- Что ты меня искушаешь? Фашист!
- Я тебя не искушаю. Для твоей же пользы говорю. Попробуй автономного портвейна. Намедни помощник начальника купил 3 бутылки, как крушение дрезины было.
- Что ты меня мучаешь?!
- Красные, столовые различных номеров. Сухие белые, цинандали, напареули, мукузани, ореанда!..
- Перестань!
- Ай-даниль!
- Ну, я лучше пойду, ну тебя к Богу.

— Постой! Рислинг, русская горькая, померанцевая, пиво мартовское, зубровка, абрау, портер.

— Ну дай, дай ты мне... Шут с тобой. Победил ты меня. Дай две бутылки рябиновой...

— Пиво полдюжины, завернуть?

— Заверни, чтоб ты издох.

* * *

— Эх! Эх! А дрова-то все осина!

— Эх! Не горят без керосина!..

Плачет Дунька у крыльца!

Ланца-дрица! Ца, ца!!!

— Ха-рош... Где ж ты так набрался?

— Аз... Ряби... ряби... би-би. В кипи-кипиративе...

* * *

— Граждане! Заявляю вам прямо. Нету больше моих сил. Плачу, а пью!.. Мукузани... Единственное средство — закрыть осинное гнездо!

— Осинное!

— Осинное гнездо с бутылками. Сахару нету, а почему в противовес: московская малага есть? Позвольте вам сделать запрос: заместо подсолнечного предлагают цинандали не свыше 1 р. 60 коп. бутылка.

— Правильно!!

— Прекратить!

— В полной мере не допускать!

— Я — за!

— Секретарь, именем революции.

«Гудок», 25 сентября 1924 г.



РАССКАЗ ПРО ПОДЖИЛКИНА И КРУПУ

В транспосекцию явился гражданин, прошел в кабинет, сел на мягкую мебель, вынул из кармана пачку папирос «Таис», затем связку ключей и переложил все это в другой карман.

Затем уже достал носовой платок и зарыдал в него.

— Прошу вас не рыдать, молодой человек, в учреждении, — сказал ему сурово сидящий за столом, — рыдания отменяются.

Но гражданин усилил рыдания.

— У вас кто-нибудь умер? Вероятно, ваша матушка? Так вы идите в погребальный отдел страхкасы и рыдайте им сколько угодно. А нам не портите ковер, м-молодой чзэк!

— Я не молодой чек, — сквозь всхлипывания произнес гость, — я, наоборот, председатель железнодорожного первичного кооператива Поджилкин!

— Оч-чень приятно, — изумился транспосекщик, — чего же вы плачете?

— Из-за крупы плачу, — утихая, ответил Поджилкин, — дайте, ради всего святого, крупы.

— Что значит... дайте? — широко улыбнулся транспосекщик, — да берите сколько хотите! Сейчас нам предложил Центросоюз три вагона крупы-ядрицы. Эх вы, рыдун, рыдайло... рыдакса печальная!

— Почему? — спросил, веселея, Поджилкин.

— По два двадцать.

Поджилкин тяжело задумался.

— Э-к-я штука, — забормотал он, — ведь вот okazия! Вы тово, крупу минуточку придержите... а я сейчас...

И тут он убежал.

— Чудак, — сказали ему вслед, — то ревет, как белуга, то бегают...

Поджилкин же понесся в комиссию по регулированию цен при МСПО.

— Где комиссия Месепео?

— Вон дверь. Да вы людей с ног не сбивайте! Успеете...

— Вот что, братун... крупа тут подвернулась... ядрица... Да по 2 р. 20 коп., а вы установили обязательную цену для розничной продажи в кооперативах тоже по 2 р. 20 коп.

— Ну? Установили. Дык что?

— Дык разрешите немного дороже продавать. А то как же я покрою провоз, штат и те де.

— Ишь, какой хитрый. Нельзя.

— Почему?

— Потому что нельзя.

— Что же мне делать?

— Гм. Слетайте на Варварку в Наркомвнуторг.

Поджилкин полетел на трамвае № 6.

Прилетел.

— Вот... ядрица... упустить боюсь... два двадцать... понимаете... а цена розничная установлена... понимаете... тоже два двадцать... Понимаете.

— Ну?

— Повысить разрешите.

— Ишь, ловкач. Нельзя.

— Отчего?

— Оттого, что оттого.

— Что же мне делать? — спросил Поджилкин и полез в карман.

— Нет, вы это бросьте. Вон плакат — «Просят не плакать».

— Как же не плакать?

— Идите в Месепео.

Поджилкин поехал обратно на 4 номере.

— Опять вы?

— Дык к вам послали...

— Ишь, умники... Иди обратно...

— Обратно?

— Вот именно...

Поджилкин вышел. Постоял, потом плюнул. И подошел милиционер.

— Три рубля.

— За что?

— Мимо урны не плюй.

Заплатил Поджилкин три рубля и пошел к себе в кооператив.

Взял картонку и на ней нарисовал:

Крупы нет!

Подходили рабочие к картонке и ругали Поджилкина, а рядом частный торговец торговал крупой по 4 рубля.

Так-то-с.

«Гудок» 1 октября 1924 г.



БИБЛИФЕТЧИК

На одной из станций библиотекарь в вагоне-читальне в то же время и буфетчик при утолке Ильича.

(Из письма рабкора)

— Пожалте! Вон столик свободный. Сейчас обтиру. Вам пивка или книжку?

— Вася, библифетчик спрашивает, чего нам... Книжку или пивка?

— Мне... ти... титрадку и бутирброд.

— Тетрадок не держим.

— Ах, вы... вотр маман... трах-тарарах...

— Неприличными словами прошюсть не выражаться.

— Я выра... вы... ражаю протест!

— Сооруди нам, милый, полдюжинки!

— Азбука, сочинение товарища Бухарина, имеется?

— Совершенно свеженький, только что получен. Герасим Иванович! Бухарин — один раз! И полдюжины светлого!

— Воблочку с икрой.

— Вам воблочку?

— Нам чиво-нибудь почитать.

— Чего прикажете?

— Ну, хоша бы Гоголя.

— Вам домой? Нельзя-с. На вынос книжки не отпускаем. Кушайте, то бишь читайте здесь.

— Я заказывал шницель. Долго я буду ждать?!

— Чичас. Замучился. За «Эрфуртской программой» в погреб побежали.

— Наше вам!

— Урра! С утра здесь. Читаем за ваше здоровье!

— То-то я и смотрю, что вы лыка не вяжете. Чем это так надрались?

— Критиком Белинским.

- За критика!
- Здоровье нашего председателя уголка! Позвольте нам два экземпляра мартовского.
- Нет! Эй! Ветчинки сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития.
- Историю движения могу предложить.
- Ну, давай движение. Пушай ребенок читает.
- Я из писателей более всего Трехгорного обожаю.
- Известный человек. На каждой стене, на бутылке опять же напечатан.
- Порхает наш Герасим Иваныч, как орел.
- Благодетель! Каждого ублаготвори, каждому подай...
- Ангел!
- Герасим Иванович, от группы читателей шлем наше «ура».
- Некогда, братцы... Пе... то исть читайте на здоровье.
- Умрешь! Па... ха... ронють, как не жил на свети...
- Сгинешь... не восстанешь... к ви... к ви... селью друзей!
- Налей... налей...

«Гудок», 7 октября 1924 г.



ПО ГОЛОМУ ДЕЛУ

(Письмо)

Все было тихо, все очень хорошо и вдруг пущен был слух по нашей уважаемой станции Гудермес С.-К. ж. д., что якобы с поездом № 12 в 18 часов приедут из Москвы все голые члены общества «Долой стыд».

Интерес получился чрезвычайных размеров, в том числе женщины говорили:

— Это безобразие!

Но, однако, все пришли смотреть.

А другие говорили:

— Будем их бить!

Одним словом, к поезду вышел весь Гудермес в общем и целом.

Ну и получилось разочарование, потому что поезд приехал одетый с иголки, за исключением кочегара, но и то только до пояса. Но голого кочегара мы уже видали, потому что ему сажа вроде прозодежды.

Таким образом, все разошлись, смеясь.

Но нам интересно, как обстоит дело с обществом и как понять ихние поступки в Москве?

Письмо т. Пивня
переписал М. Булгаков.

Ответ Булгакова:

Тов. Пивень!

Сообщите гудермесцам, что поступки голых надо понимать как глупые поступки.

Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции.

А теперь «общество» ликвидировалось по двум причинам: во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз.

Так что никого не ждите, голые не придут.

Ваш М. Б.

«Гудок», 11 октября 1924 г.



ПРОГЛОЧЕННЫЙ ПОЕЗД

Рассказ рабочего

Если какой-нибудь администратор — ретивый и напо-
ристый, то он может так пакость учинить, что ее никакими
ковшами не расхлебашь.

Ничего не подозревая, пришли мы в свои муромские мас-
терские и заметили на стенах объявление, которое гласит:

Объявление

По распоряжению управления дороги ввиду больших
расходов на содержание рабочего поезда Муром — Селива-
ново по М.-Ниж. ж. д. курсирование последнего в скором
времени будет отменено, а потому предлагается всем служа-
щим, мастеровым и рабочим, едущим на рабочем поезде по
М.-Ниж. ж. д., отметить в списке у табельщика своего
цеха, кто останется на службе после отмены рабочего поез-
да, т. е. будет ежедневно ходить на квартиру в селение пеш-
ком или найдет частным образом квартиру в городе, так как
предоставление квартир от дороги, за неимением таковых,
не представляется возможным.

Следует отметить и тем, кто с прекращением курсиро-
вания рабочего поезда Муром — Селиваново вынужден
будет уволиться из мастерских.

За ТМ Муром Лихонин

14 сентября 24 г.

Копия верна: делопроиз. (подпись).

Что произошло после этого, ни в сказке сказать, ни
пером описать: каждый, глядя в даль своей жизни, увидел
перспективу: или ночуй на открытом воздухе, или немедлен-
но шаркни ножкой и со службы.

Объявление огорошило рабочих настолько, что многие
швыряли шапки на землю.

Я сам лично, поглядев на закопченные наши корпуса, почувствовал отчаяние и муку и пишу во всеуслышание всей республике:

— На каком основании Казанская дорожка гоняет каждый праздник якобы рабочий поезд, населенный женами, прислугами и вообще элементов из Муром, почти до станции Новашино, причем каждый и всякий лезет в двери поезда бесплатно?

И почему Курская, как какой-нибудь хищник, сжигает беспощадно топливо и гоняет бригаду бесцельно, отправляя поезд из Муром до Селиванова, где паровоз отцепляют и гонят обратно в Муром, а ночью опять этот паровоз мчится за составом рабочего поезда в Селиваново и, наконец, уже утром из Селиванова везет рабочих на работу! Об этом никто ни гугу, а наш рабочий поезд проглотила администрация с необыкновенной легкостью!

Пишу и ожидаю защиты от газеты «Гудок».

Рассказ рабочего записали
Рабкор 68 и М.

«Гудок», 16 октября 1924 г.



СТЕНКА НА СТЕНКУ

В день престольного праздника в селе Поплевине, в районе станции Рязск, происходил традиционный кулачный бой крестьян. В этом бое принял участие фельдшер рязжского приемного покоя, подавший заявление о вступлении в партию.

ЧАСТЬ 1. НА ВЫГОНЕ

В день престольного праздника преподобного Сергия в некоем селе загремел боевой клич:

— Братцы! Собирайся! Братцы, не выдавай!

Известный всему населению дядя, по прозвищу Козий Зоб, инициатор и болван, вскричал командным голосом:

— Стой, братцы! Не все собрамшись. Некоторые у обедни.

— Правильно! — согласилось боевое население.

В церкви торопливо звякали колокола, и отец настоятель на скорую руку бормотал слова отпуска¹. Засим, как вздох, донесся заключительный аккорд хора, и мужское население хлынуло на выгон.

— Ура, ура!

Голова дяди Зоба мелькала в каше, и донеслись его слова:

— Стой! Отставить...

Стихло.

И Зоб произнес вступительное слово:

— Медных пятакон чеканки 1924 года в кулаки не зажимать. Под вздох не бить дорогих противников, чтобы не уничтожить население. Лежачего ногами не топтать: он не просо! С Богом!

— Урра! — разнесся богатырский клич.

¹ ...бормотал слова отпуска — церк. молитва, читасмая священником, при окончании службы (Д а л ь, т. 2).

И тотчас мужское население разломилось на две шеренги. Они разошлись в разные стороны и с криком «ура» двинулись друг на друга.

— Не выдавай, Прокудин! — выла левая шеренга. — Бей их, сукиных сынов, в нашу голову!!!

— Бей! Эй, эй! — разнесли перелески.

Шеренги сошлись, и первой жертвой силача Прокудина стал тот же бедный Зоб. Как ни били со всех сторон Прокудина, он дорвался до зобовой скулы и так тяжело съездил его, поддав еще в то место, на котором Козий Зоб заседал обыкновенно на общих собраниях сельсовета, что Зоб моментально вылетел из строя. Его бросило головой вперед, а ногами по воздуху, причем из кармана Зоба выскочило шесть двугривенных, изо рта два коренных зуба, из глаз искры, а из носа — темная кровь.

— Братья! — завывала правая шеренга. — Неужто поддадимся?

Кровь Зоба возопияла к небу, и тотчас получилось возмездие. Стены сошлись вплотную, и кулаки забарабанили, как цепи на гумне. Вторым высадило из строя Васю Клюкина, и Вася физиономией проехался по земле, ободрив как первую, так и вторую. Он лег рядом с Зобом и сказал только два слова:

— Сапоги вдове...

Без рукавов и с рваным в клочья задом вылетел Птахин, повернулся по оси, ударил кого-то по затылку, но мгновенно его самого залепило плухою в два аршина, после чего он рывкнул:

— Сдаюсь! Света Божьего не вижу...

И перешел в лежащее положение.

За околицей тревожно взвыли собаки, легонько начали повизгивать бабы-зрительницы.

И вот, в манишке, при галстукке и калошах, показался, сияя празднично, местный фельдшер Василий Иванович Талалыкин. Он приблизился к кипящему бою, и глазки его сузились. Он потоптался на месте, потом нерешительно рукою дернул себя за галстук, затем более решительно прошелся по пуговицам пиджака, разом скинул его и, издав победоносный клич, врзался в битву. Правая шеренга получила подкрепление, и, как орел, бросился слугитель медицины уве-

чить своих пациентов. Но те не остались в долгу. Что-то крякнуло, и выкатился вон, как пустая банка из-под цинковой мази, универсальный врач, усеивая пятнами крови зеленую траву.

ЧАСТЬ 2. ВЫГНАЛИ

Через два дня в Укоме города Р. появился фельдшер Василий Иванович Талалыкин. Он был в кожаной куртке, при портрете вождя, и сознательности до того много было в его лице, что становилось даже немножко тошно. Поверх сознательности помещался разноцветный фонарь под правым оком фельдшера, а левая скула была несколько толще правой... Сияя глазами, ясно говорящими, что фельдшер постиг до дна всю политграмоту, он приветствовал всех словами, полными достоинства:

— Здравствуйте, товарищи.

На что ему ответили гробовым молчанием.

А секретарь Укома, помолчав, сказал фельдшеру такие слова:

— Пройдемте, гражданин, на минутку ко мне.

При слове «гражданин» Талалыкина несколько передернуло.

Дверь прикрыли, и секретарь, заложив руки в карманы штанов, молвил такое:

— Тут ваше заявление есть о вступлении в партию.

— Как же, как же, — ответил Талалыкин, предчувствуя недоброе и прикрывая лодыжкой фонарь.

— Вы ушиблись? — подозрительно ласково спросил секретарь.

— М... м... ушибси, — ответил Талалыкин. — Как же, на притолоку налетел... М-да... Заявленьице. Вот уже год стучусь в двери нашей дорогой партии, под знамена которой, — запел вдруг Талалыкин тонким голосом, — я рвусь всеми фибрами моей души. Вспоминая великие заветы наших вож...

— Довольно, — неприятным голосом прервал секретарь, — достаточно. Вы не попадаете под знамена!

— Но почему же? — мертвея, спросил Талалыкин.

Вместо ответа секретарь указал пальцем на цветной фонарь.

Талалыкин ничего не сказал.

Он повесил голову и удалился из Укома.

Раз и навсегда.

«Гудок», 19 октября 1924 г.



НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ

Книгоспилка (книжный союз) в Харькове продала на обертку 182 пуда 6 ф. книг, изданных Наркомземом для распространения на селе.

Кроме того, по 4 рубля за пуд продавали лавочники издания союза украинских писателей «Плут».

Рабкор

В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавками. Звякнул звоночек, и появился гражданин с рыжей бородой веером. Он сказал:

— Драсьте...

— Чем могу служить? — обрадованно спросил его приказчик.

— Нам бы гражданина Лермонтова сочинение, — сказал гражданин, легонько икнув.

— Полное собрание прикажете?

Гражданин подумал и ответил:

— Полное. Пудиков на пятнадцать — двадцать.

У приказчика встали волосы дыбом.

— Помилте, оно и все-то весит фунтов пять, не более!

— Нам известно, — ответил гражданин, — постоянно его покупаем. Заверните экземпляриков пятьдесят. Пушай ваши мальчики вынесут, у меня тут ломовик дожидается.

Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно:

— К сожалению, всего пять экземпляров осталось.

— Экая жалость, — огорчился покупатель, — ну, давайте хучь пять. Тогда, милый человек, соорудите мне еще «Всемирную историю».

— Сколько экземпляров? — радостно спросил приказчик.

— Да отвесь полсотенки...

— Экземпляриков?

— Пудиков.

Все приказчики вылезли из книжных нор, и сам заведующий подал покупателю стул. Приказчики забегали по лестницам, как матросы по реям.

— Вася! Полка 15-а. Скидай «Всемирную», всю как есть. Не прикажете ли в переплетах? Папка, тисненная золотом...

— Не требуется, — ответил покупатель. — Нам переплеты ни к чему. Нам главное, чтоб бумага была скверная.

Приказчики опять ошалели.

— Ежели скверная, — нашелся наконец один из них, — тогда могу предложить сочинения Пушкина и издание Наркомзема.

— Пушкина не потребуется, — ответил гражданин, — он с картинками, — картинки твердые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу.

Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчишки, кряхтя, выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал:

— До приятного свидания.

— Позвольте узнать, — почтительно спросил заведующий, — вы, вероятно, представитель крупного склада?

— Крупного, — ответил с достоинством покупатель, — селедками торгуем. Наше вам.

И удалился.

«Гудок», 21 октября 1924 г.



ПОВЕСТКА С ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ

Рабочий Влас Власович Власов получил из Вознесенского почтового отделения повестку на перевод. Влас развернул ее и стал читать вслух, потому что так Власу легче:

— Воз-не-сенское пе-о-по-что-ве-о-вое-е. Почтовое. Отде-отделение из-ве-ща-а-ща. Извещает. Слышь, Катерина, извещает! Видно, брат деньги прислал. Что на наше имя получен перевод на 15 рублей в день тезо-име-нитства... его импера-ра-раторско-го...

Влас поперхнулся:

— величества...

Влас пугливо оглянулся и продолжал вычитывать шепотом:

— Государя?! Что такое? Ин-пи-ра-то-ра Ни-ко-лая Александровича.

Ошалевший Влас помолчал и от себя добавил:

— Крававава, — хоть этого слова в повестке и не было. — Выдача денег производится ежедневно, за исключением дву-двунадесятых праздников и дня рождения ее... императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Здорово! — воскликнул Влас. — Вот так повесточка. Слышь, Катя, повестку прислали с государем императором!

— Все-то тебе мерещится, — ответила Катерина.

— Большая сласть твой император, — обиделся Влас, — что он мне мерещиться будет. Впрочем, тебе, как неграмотному человеку, доказательства ни к чему не ведут.

— Ну и уйди к грамотным, — ответила нежная супруга.

Влас ушел к грамотным в Вознесенское отделение, получил 15 рублей, затем засунул голову в дыру, обтянутую сеткой, и спросил:

— А по какой причине государя напечатали на повестке? Очень интересно осведомиться, товарищ?

Товарищ в образе женщины с круто завинченной волосяной фигой на голове и бирюзой на указательном пальце ответил так:

— Не задерживайте, товарищ, мне некогда с вами. Бланки старые, царского выпуска.

— Хорошенькое дело, — загудел Влас в дыру, — в советское время — и такое заблуждение...

— Вне очереди залез! — завывли в хвосте. — Каждому надо получать...

И Власа за штаны вытащили из окошка.

Всю дорогу Влас крутил головой и шептал:

— Государю императору. Чрезвычайно скверные слова!

А придя домой, вооружился огрызком химического карандаша и старым корешком багажной квитанции, на котором написал в «Гудок» письмо:

«Эн-е-не мешало бы убрать причиндалы отжившего строя, напечатанные на обратной стороне повесток, которые угнетают и раздражают рабочий класс.

Влас».

«Гудок», 24 октября 1924 г.



СМУГЛЯВЫЙ МАТЕРЩИННИК

Распроклятый тот карась
Поносил меня вчера
Да при всем честном собрании
Непечатной разной бранью!

(Из «Конька-Горбунка»)

Прекратите, товарищи, матерщину раз и
навсегда. Это — позор-с!

Лозунг фельетониста

Ругаются у нас здорово, как известно, на станции Ново-Алексеевка Южных ж. д., но так обложить, как обложил трех безбилетных 24 сентября 1924 года по новому стилю старший агент охраны поезда № 31, еще никто не обкладывал в жизни человеческой!

Вся публика сбежала в ужасе, не говоря уже о женщинах, даже сторож удрал.

Я считаю это явление позорным на транспорте и написал стихи:

Сопровождая тридцать первый,
Охраны агент — парень смелый —
Трех безбилетных зацепил,
К ДС в контору потащил.
Все это так, но на перроне
Его смуглявое лицо
Заволокло вдруг тучей черной
И передернуло всего.
«Я... вашу мать, в кровь, в Бога, в веру!!! —
Сей агент начал тут кричать, —
Я покажу вам для примера,
Как зайцем ездить... вашу мать!!»
А женщин много. Вот беда!
И от стыда бежать... куда?
«В кровь, боженят! Я вас стребу!!»
Ревет наш агент, как в трубу.

О, агент! Выслушай совет:
Лови ты зайцев беспощадно,
Но не позорь ты белый свет
Своею бранью площадной!

Письмо рабкора Пробоя
списал *Булгаков*.

«Гудок», 28 октября 1924 г.



ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Записная книжка

15 числа.

В Одессе на каустической соде сделал 1000 червей. Сего числа прибыл в Москву. Поселяюсь. Хватит? Хи-хи! Я думаю...

16 числа.

У которого человека деньги есть, тот может легко иметь квартиру в Москве. Уже нашел. Правление сдает за 28 червей в месяц ослепительную комнату с гобеленом, телефоном и клезетом. Остальное в доме — рвань коричневая живет.

18 числа.

Контракт на год подписал. Переехал. Гобелен зеленый. Сегодня по двору шел, какие-то бабы смотрели, пальцами показывали на меня. Пушай поклоняются. Председатель говорит: «Вы у нас единственный богатый человек». Хи-хи. Приятно. Что говорить, деньги — сила. Черви-козыри!

19 числа.

Мебель купил — 80 червей.

Крова — 20.

Пружи матра — 15.

Расходов, черт ее возьми, комната эта требует.

20 числа.

Позвольте... Явился с окладистой бородой. Лицо неприятное. Сколько, спрашивает, за комнату платите? Вам какое дело? Оказывается, фин-инспектор!..

21 числа.

Да что он, взбесился?! Квартира, говорит, $\frac{1}{5}$ часть бюджета, стало быть, говорит, зарабатываете вы в месяц $28 \times 5 = 140$ червей. Стало быть, в год 1680 червей!! Стало быть, налогу с вас... Считал, считал и насчитал 120 червей!

Э, не... платить не буду!

28 числа.

Заплатил, будь он проклят, с пеней.

29 числа.

Лопнул водопровод в доме. Обложили пропорционально квартирной плате. С меня двадцать червей.

31 числа.

Ремонт лестниц. С меня пропорционально — 18 червей.

Воздушн. Флот — 1 червь.

Дети беспризорн. — 1 червь.

(Вы, кричат, «богатый».)

Доброхим... Доброзем...

На туберкулез пролетариям дал пятнадцать копеек.

3 числа.

Двор асфальтом заливали, со всех по целковому, с меня 5 червей. Да ну вас к черту! Хотел бросить комнату... нельзя, неустойка 500 червей.

9 числа.

Уму непостижимая вещь... Весь дом на мой счет содержится. Стекла вставили всюду, детскую площадку устроили, на председателе правления новые брюки (ему жалованье положили).

10 числа.

Явился фин и обложил дополнительно, как «исключительно богатого человека». Единоновременно 500 червей. Я даже завизжал. Ничего не понимаю. Со двора асфальтом пахнет. Кричу: «Я разорился», — а он говорит: «Попробуйте не заплатить».

15 числа.

Описали мебель, gobелен, телефон, чемоданы, девять костюмов, кой-что из золота.

Еду в Одессу содой работать.

Ж-л «Смехач» (Ленинград), 1924, № 19 (октябрь).

Ж-л «Заноза», 1924, № 19 (октябрь).



ВОЙНА ВОДЫ С ЖЕЛЕЗОМ

ЧАСТЬ I

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ?

Это не водники, а грехо-водники! Честное слово. Замечена была такая история: как только нужно ехать нашему железнодорожнику куда-нибудь по воде, дают ему место или на корме, или в люке, или в трюме, и едет транспортник, как поросенок.

Долго наше начальство терпело надругательства над личностями железнодорожного транспорта, но, наконец, его терпение лопнуло.

Один начальник вызвал к себе другого начальника рангом поменьше и сказал ему такое:

— Что ж они, издеваются, что ли?

— Так точно.

— Они думают, вероятно, что транспортники какие-нибудь ослы, которые в трюмах будут ездить?

— Надо полагать-с.

— А вот я им по-по-лагаю! Они у меня поездиют... Напишите-ка, Алексей Алексеевич, бумажку.

— Слушаю.

И получена была такая бумажка:

«Из Саратова. Всем ДС, ДН, ДЧ, СЧ, СМ, КР, С. К. Д. Ввиду того, что управление госпароходством предоставляет проезд железнодорожникам в вышеупомянутых местах, с получением сего предлагается работникам водного транспорта, едущим по разовым билетам, предоставлять место только в поездах с теплушками, отнюдь не допуская их в вагоны третьего класса». Следуют подписи.

ЧАСТЬ 2

БРАТСКИЙ ПРИЕМ

Водник явился в соответствующее железнодорожное место получать билет.

— Вам что? — спросило его железнодорожное лицо и хмуро глянуло на якоря на пуговицах.

— Мне бы билетик до Тамбова, — ответил мореплаватель.

Железнодорожное лицо хищно обрадовалось.

— Ах, вам билетик? Очень приятно! Присаживайтесь. Родственников желаете, наверно, навестить? Соскучились... Хе-хе... Кульер, стакан чаю гражданину воднику. Ну, как у вас в Тихих океанах, все ли благополучно?

— Покорнейше благодарим, — ответил потомок Христофора Колумба, — мы больше в Самару плаваем. Мне бы в скором поезде, если можно...

— Как же, как же, обязательно! У меня, правда, циркулярчик есть, чтобы вам, морским волкам, только в теплушках места давать, но для такого симпатичного представителя стихии, как вы, можно сделать исключение. Вы ведь привыкли там на ваших броненосцах в кают-компаниях всяких, хи-хи. Кстати, моя теща на днях в Самару ездила, так ее, божью старушку, в трюм засадили на мешки. Так и гнила дама до самой Самары.

— Мы этому не причинны.

— Ну, конечно, конечно. Так вот получите, пожалуйста. Замечательное местечко. Сидеть можете, курящее, просторно и отдельно. Кульер, проводи господина адмирала!

Водник прочитал резолюцию, покачулся, глаза вытаращил и сказал:

— Большое мирси!

Было написано:

«Выдать ему одно место в сартире второго класса до Тамбова».

ЧАСТЬ 3

ДРАМА В ВАГОНЕ

В коридоре мягкого вагона скорого поезда стоял хвост с полотенцами и зубными щетками, взъерошенный и злобный.

— Ничего не понимаю, — бормотал передовой гражданин, переминаясь с ноги на ногу. — С самого Саратова залез какой-то фрукт и не выходит!

— Это наглость, — крикнула какая-то дама в хвосте, — я полчаса жду.

— Мы, сударыня, три часа уже ждем, — отозвался печальный голос впереди, — и то молчок. А терпения нету...

— Я думаю, что он самоубийством покончил, — встревожился чей-то голос. — Такие вещи бывают; двери надо ломать.

— Кондуктор! Кондуктор!

— Постойте-ка, постойте, тише...

Хвост стих. И сквозь стук колес донеслось глухое пение:

По морям, по волнам...
Нынче здесь, завтра там... —

пел приятный глухой бас.

Хвост взвыл сразу:

— Это неслыханное нахальство. Он поет, оказывается!

— Кондуктор!!

Хвост разломился и поднял страшный грохот в лакированную дверь. Та распахнулась, и в накуренном узком пространстве предстал симпатичный человек с якорями и папирсой.

— Вам чего? — спросил он сконфуженно.

— Как «чего»? Как «чего»?

— Как это так «чего»?

— Вы долго собираетесь сидеть здесь? — ядовито спросил передовой, размахивая полотенцем.

— До Тамбова, — смущенно ответил пассажир.

— Это сумасшедший! — завизжали сзади женские голоса.

— Выплывайтесь вон!!!

Пассажир побагровел и растерянно забормотал:

— Да нельзя мне выплунуться, я бы и рад. Обштрахуют, у меня билет сюды.

— Кондуктор, кондуктор, кондуктор!..

ЭПИЛОГ

В Аткарске писали протокол, а рабкор «Гудка», иронически усмехаясь за соседним столом, писал корреспонденцию в «Гудок» и закончил ее словами:

«Когда же закончится братоубийственная война воды с железом?»

«Гудок», 2 ноября 1924 г.



РАССКАЗ РАБКОРА ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ

Приблизились роковые 17 часов, и стеклись в бахмачские казармы рабочие слушать, как местком будет давать отчет в своей работе.

Ровно в четверть 8-го председатель звонким голосом предложил занять места, а засим вышел председатель месткома и, не волнуясь, вольно и плавно, как соловей, начал свой доклад:

— Служащих у нас в сентябре 406 человек, причем из них нечленов союза — 6. Итого членов союза — 400 человек. «Гудок» выписывают все. Четыреста раз по 1 «Гудку», итого 400 «Гудков». Задание выполнено на 100%, итого сто. Закуплен духовой оркестр, причем часть денег за него заплачена...

— Итого? — спросили из заднего ряда.

— Итого надо изыскать деньги, чтобы их заплатить, — ответил председатель и продолжал: — Стенная газета выходит иногда несвоевременно по причине пишущей машинки.

— А чем она мешает? — спросили.

— Ее нету, — пояснил председатель и продолжал: — А должность КХУ по Бахмачу совершенно лишняя и его надо сократить. Так же как и брандмейстеровская должность.

— Прошу слова! — закричал вдруг кто-то, и все, поднявшись, увидели, что кричал КХУ.

— Нате вам слово, — сказал председатель.

КХУ вышел перед собранием, и тут все увидели, что он волнуется.

— Это я лишний? — спросил КХУ и продолжал: — Большое спасибо вам за такое выражение по моему адресу. Мерси. Я 24 часа сижу, в своих отчетах копаюсь... и при этом я — лишний? Я работаю, как какой-нибудь вол, местком

этого ничего не замечает, а потом заявляет, что я лишний! Я, может быть, одних бумажек миллион написал! Я лишний?!

— Правильно... лишний... — загудело собрание.

— Совершенно лишний, — подтвердил председатель.

— Неправда, я не лишний! — крикнул КХУ.

— Ну, лишаю вас слова, — сказал председатель.

— Я не лишний! — крикнул раздраженно КХУ.

Тут председатель позвонил на него колокольчиком, после чего КХУ смирился.

— Прошу слова, — раздался голос, и все увидели брандмейстера. — Я тоже лишний? — спросил.

— Да, — твердо ответил ему председатель.

— Позвольте узнать, чем вы руководствовались, возбуждая вопрос о моем сокращении? — спросил брандмейстер.

— Гражданской совестью и защитой хозяйственной бережливости, — твердо ответил ему председатель и устремил взор на портрет Ильича.

— Ага, — ответил брандмейстер и никакой бучи не поднимал. Он — мужественный человек, благодаря пожарам.

После этого председатель рассказал про кассу взаимопомощи, что в ней свыше тысячи рублей, но и того маловато, потому что все деньги на руках, и собрание закрылось. Вот и все наши бахмачские дела.

Письмо рабкора списал

М. Булгаков.

«Гудок», 11 ноября 1924 г.



ПОД МУХОЙ

(Сцена с натуры)

На станции № открывали красный уголок. В назначенный час скамьи заполнились железнодорожниками. Приветливо замелькали красные повязки работников. Председатель встал и торжественно объявил:

— По случаю открытия Уголка, слово предоставляется оратору Рюмкину. Пожалуйста, Рюмкин, на эстраду.

Рюмкин пожаловал странным образом. Он качнулся, выдрался из гуши тел, стоящих у эстрады, взобрался к столу, и при этом все увидели, что галстук у него за левым ухом. Затем он улыбнулся, потом стал серьезен и долго смотрел на электрическую лампу под потолком с таким выражением, точно видел ее впервые. При этом он отдувался, как в сильную жару.

— Начинайте, Рюмкин, — сказал председатель удивленным голосом.

Рюмкин начал икать. Он прикрыл рот щитком ладони и икнул тихо. Затем бегло проикал 5 раз, и при этом в воздухе запахло пивом.

— Кажись, буфет открыли? — шепнул кто-то в первом ряду.

— Ваше слово, Рюмкин, — испуганно сказал председатель.

— Дара-гие граждане, — сказал диким голосом Рюмкин, подумал и добавил: — А равно и гражданки... женска...ва отдела.

Тут он рассмеялся, причем запахло луком. На скамейках невольно засмеялись в ответ.

Рюмкин стал мрачен и укоризненно посмотрел на графин с водой. Председатель тревожно позвонил и спросил:

— Вы нездоровы, Рюмкин?

— Всегда здоров, — ответил Рюмкин и поднял руку, как пионер. В публике засмеялись.

— Продолжайте, — бледнея, сказал председатель.

— Прадал... жать мне нечего, — заговорил хриплым голосом Рюмкин, — и без продолжения очень... хорошо. Ик! Впрочем... Если вы заставляете... так я скажу... Я все выскажу!!! — вдруг угрожающе выкрикнул он. — По какому поводу вообще собрание? Я вас спрашиваю? Которые тут смеются? Прошу их вытьтить! Гражданин председатель, вы своих обязана... зяби... зана...

Гул прошел по рядам, и все стали подниматься. Председатель всплеснул руками.

— Рюмкин! — в ужасе воскликнул он, — да вы пьяны?

— Как дым! — крикнул кто-то.

— Я? — изумленно спросил Рюмкин. Он подумал, повесил голову и молвил: — Ну и пьяный. Так ведь не на ваши напился...

— Вывести его!

Председатель, красный и сконфуженный, нежно подхватил Рюмкина под руку.

— Руки прочь от Китая! — гордо крикнул Рюмкин.

Секретарь поспешил на помощь председателю, и Рюмкина стали выводить.

— Из союза таких китайцев надо выкидывать! — крикнул кто-то.

Собрание бурно обсуждало инцидент.

Через 5 минут все успокоились; сконфуженный председатель появился на эстраде и объявил:

— Слово предоставляется следующему оратору.

«Гудок», 15 ноября 1924 г.



ГИБЕЛЬ ШУРКИ-УПОЛНОМОЧЕННОГО

(Дословный рассказ рабкора)

Шурку Н. — нашего помощника станции — знаете?

Впрочем, кто же не знает эту знаменитую личность двадцатого столетия!

Когда Шурку спрашивали, от станка ли у него папа, он отвечал, что его папа был станционным сторожем.

Поэтому Шурка пошел по транспортной линии с 12 лет своей юной жизни и после десятилетнего стажа добился высокого звания профуполномоченного.

Вот на этом звании он и пропал во цвете лет.

Его спрашивают:

— Что будешь делать в качестве уполномоченного, Шурка?

А он говорит:

— Я предприниму, братцы, энергичную смычку с деревней.

И предпринял смычку с деревней, и начал ездить в деревню и пить в ней самогон. А самогон в деревне очень хороший — хлебный.

А потом неизвестно где и как добыл себе наган. Ходит пьяный с наганом по селу и размахивает. А потом так приучился во время смычки к самогону, что начал выпивать по 17 бутылок в день.

Его мать-старушка за ним ходит, плачет, а Шурка пьет да пьет. А потом глядь-поглядь и начал задерживать деньги рабочих, получаемые им из страховой кассы по доверенности.

Долго ли, коротко ли, начали жаловаться в союз, где в один прекрасный день рассмотрели Шуркины дела и выпер-

ли его из профуполномоченных. Вот тебе и получилась размычка вместо смычки. Тут и кончается рассказ.

Рабкор.

Пожалуйста, напечатайте этот мой рассказ, и мамаша Шуркина будет очень рада, потому что он до сих пор еще пьянствует. И на днях у него произвели обыск, но нагана почему-то не нашли, куда-то его он задевал.

Письмо рабкора списал
М. Булгаков

Примечание Булгакова.

Дорогой Шурка! Видите, какой про вас напечатали рассказ. Сидя здесь, в Москве, находясь вдалеке от вас и не зная вашего адреса, даю вам печатный совет: исправьтесь, пока не поздно, а то иначе вас высадят и с той низшей должности, на которую вас перевели.

Письмо рабкора списал
М. Булгаков

«Гудок», 16 ноября 1924 г.



ТРИ ВИДА СВИНСТВА

«В наших густонаселенных домах отсутствуют какие-либо правила и порядок общежития».

(Из газет)

1. БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Пять раз сукин сын Гришка на животе, по перилам, с 5-го этажа съезжал в «Красную Баварию» и возвращался с парочкой. Кроме того, достоверно известно: с супругами Болдиными со службы возвратилось 1½ бутылки высшего сорта нежинской рябиновки приготовления Госспирта, его же приготовления нежно-зеленой русской горькой 1 бутылка, 2 портвейна московского разлива.

— У Болдиных получка, — сказала Дуська и заперла дверь на ключ.

Заперся наглухо квартхоз, пекарь Володя и Павловна, мамаша.

Но в 11 часов они заперлись, а ровно в полночь открылись, когда в комнате Болдиных лопнуло первое оконное стекло. Второе лопнуло в двери. Затем последовательно в коридоре появился пестик, окровавленная супруга Болдина, а засим и сам супруг в совершенно разорванной сорочке.

Не всякий так может крикнуть «караул», как крикнула супруга Болдина. Словом, мгновенно во всех 8-ми окнах кв. 50, как на царской иллюминации, вспыхнул свет. После «портвейнового разлива» прицелиться как следует невозможно, и брошенный пестик, проскочив в одном дюйме над головой квартхоза, прикончил Дуськино трюмо. Осталась лишь ореховая рама. Тут впервые вспыхнуло винтом грозное слово:

— Милиция!

— Милиция, — повторили привидения в белье.

То не Фелия Литвин с оркестром в 100 человек режет резонанс театра страшными криками «Аиды», нет, то Василий Петрович Болдин режет свою жену:

— Милиция! Милиция!

2. ЗАКОННЫМ БРАКОМ

Когда молодой человек с усами в штопор проследовал по коридору, единодушно порхнуло восхищенное слово:

— Ах, молодец мужчина!

Ай да Павловнина Танька!

Подцепила жениха!

Молодец мужчина за стыдливой Таней, печатницей, последовал прямо в комнату № 2 и мамаше Павловне сказал такие слова:

— Я не какой-нибудь супчик, мамаша. Беспартийная личность. Я не то, чтобы поиграть с невинной девушкой и выставить ее коленом. А вас, мамаша, будем лелеять. Ходите к обедне, сам за вас буду торговать.

Пошатнулась суровая Павловна, и поехал мерзавец Шурка по перилам в Моссельпром за сахарным песком.

Обвенчался молодец мужчина в церкви св. Матвея, что на Садовой ул., и видели постным маслом смазанную голову молодца мужчины рядом с головой Тани, украшенной флерд'оранжем.

А через месяц сказал молодец мужчина мамаше Павловне:

— И когда вы издохнете, милая мамаша, с вашими обеднями. Тесно от вас.

Встала Павловна медленно, причем глаза у нее стали как у старого ужа:

— Я издохну? Сам сдохнешь, сынок. Ворюга. Обожрал меня с Танькой. Царица небесная, да ударь же ты его, дьявола, громом!

Но не успело ударить громом молодца мужчину. Он медленно встал из-за чайного стола и сказал так:

— Это кто же такой «ворюга»? Позвольте узнать, мамаша? Я ворюга? — спросил он, и голос его упал до шепота. — Я ворюга? — прошептал он уже совсем близко, и при этом глаза его задернулись пеленой.

— Караул! — ответила Павловна, и легко и гулко взлетело повторное: — Караул!

— Милиция! Милиция!

Милиция!

3. ИМЕНИНЫ

В день святых Веры, Надежды и Любви и матери их Софии (их же память празднуем 17-го, а по советскому стилю назло 30-го сентября) ударила итальянская гармония в квартире № 50, и весь громадный корпус заходил ходуном. А в половине второго ночи знаменитый танцор Пафнутьич решил показать, как некогда он делал рыбку. Он ее сделал, и в нижней квартире доктора Форточкера упала штукатурка с потолка, весом в шесть с половиной пудов. Остался в живых доктор лишь благодаря тому обстоятельству, что в тот момент находился в соседней комнате.

Вернулся Форточкер, увидел белый громадный пласт и белую тучу на том месте, где некогда был его письменный стол, и взвыл:

— Милиция! Милиция!
Милиция!

Михаил Булгаков,
литератор с женой, бездетный,
непьющий, ищет комнату в тихой
семье.

«Красный перец», № 21, 1924 г.

Л и т в и н Фелия Васильевна (1861—1936) — знаменитая русская певица, диапазон голоса которой охватывал, по выражению специалистов, две с половиной октавы от нижнего соль до верхнего ре. С легкостью необыкновенной она исполняла Джильду в «Риголетто» и Кармен в одноименной опере Бизе, была непревзойденной исполнительницей партий Брунгильды и Изольды, вообще вагнеровского репертуара. Скорее всего, М. А. Булгаков слушал Фелию Литвин и восхищался ее мастерством.



ЗВУКИ ПОЛЬКИ НЕЗЕМНОЙ

Нет, право... после каждого бала как будто грех какой сделал. И вспоминать о нем не хочется.

Из Гоголя

П-пай-дем, ппай-дем...
Ангел милый,
Пп-ольку танцевать со мной!!!

— Сс... с-свистала флейта.
— Слышу, слышу, — пели в буфете.
— П-польки, п-полечки, п-польки, — бухали трубы в оркестре.

Звуки польки неземной!!!

Здание львовского народного тряслось. Лампочки мигали в тумане, и совершенно зеленые барышни и багровые взмыленные кавалеры неслись вихрем. Ветром мело окурки, и семечковая шелуха хрустела под ногами, как вши.

Пай-дем, па-а-а-а-й-дем!!

— Ангел милый, — шептал барышне осатаневший телеграфист, улетаая с нею в небо.

— Польку! А гош¹, мадам! — выл дирижер, вертя чужую жену. — Кавалеры похищают дам!

С него капало и брызгало. Воротничок раскис.

В зале, как на шабаше, металась нечистая сила.

— На мозоль, на мозоль, черти! — бормотал нетанцующий, пробираясь в буфет.

— Музыка, играй № 5! — кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника.

¹ Налево (от фр. а gauche).

— Вася, — плакал второй, впиваясь в борты его тужурки, — Вася! Пролетариев я не замечаю! Куды ж пролетарии-то делись?

— К-какие тебе еще пролетарии? Музыка, урезывай польку!

— Висели пролетарии на стене и пропали...

— Где?

— А вон... вон...

— Залепили голубчиков! Залепили. Вишь, плакат на них навесили. Паку... па-ку... покупайте серпантин и соединяйтесь...

— Горько мне! Страдаю я.

— А-ах, как я страдаю! — зазывал шепотом телеграфист, пьянея от духов. — И томлюсь душой!

Польку я желаю... танцевать с тобой!

— Кавалеры наступают на дам и наоборот! А друат¹, — ревел дирижер.

В буфете плыл туман.

— По баночке, граждане, — приглашал буфетный распорядитель с лакированным лицом, разливая по стаканам загадочную розовую жидкость, — в пользу библиотеки! Иван Степанович, поддержи, умоляю, гранит науки!

— Я ситро не обожаю.

— Чудак ты, какое ситро! Ты глотни, а потом и говори.

— Го-го-го... Самогон!

— Ну, то-то!

— И мне прошю бокальчик.

— За здоровье премированного красавца бала Феропонта Ивановича Щукина!

— Счастливцев, коробку пудры за красоту выиграл!

— Протестую против. Кривоносому несправедливо выдали.

— Полегче. За такие слова, знаешь.

— Не ссорьтесь, граждане!

¹ Направо (от *фр.* а droite).

Блестящие лица с морожеными, как у судаков, глазами осаждали стойку. Сизый дым распухал клочьями, в глазах двоилось.

— Позвольте прикурить.

— Пажалст...

— Почему три спички подаете?

— Чудак, тебе мерещится!

— Об которую ж зажигать?

— Целься на среднюю, вернее будет.

В зале бушевало. Рушились потолки и полы. Старые стены ходили ходуном. Стекла в окнах бряцали.

— Дзинь... дзинь... дзинь!!

— Польки — дзинь! П-польки — дзинь! — рявкали трубы.

Звуки польки неземной!!!

«Гудок», 19 ноября 1924 г.



БАНАН И СИДАРАФ

— Какое правление в Турции?

— Э... э... турецкое!

«Экзамен на чин» — рассказ А. П. Чехова

1

Дело происходило в прошлом году. 15 человек на одной из станций Ю.-В. ж. д. закончили 2-месячный курс школы ликвидации безграмотности и явились на экзамен.

— Нуте-с, начнем, — сказал главный экзаменатор и, ткнув пальцем в газету, добавил: — Это что написано?

Вопрошаемый шмыгнул носом, бойко шнырнул глазом по крупным знакомым буквам, подчеркнутым жирной чертой, полюбовался на рисунок художника Аксельрода и ответил хитро и весело:

— «Гудок»!

— Здорово, — ответил радостно экзаменатор и, указывая на начало статьи, напечатанной средним шрифтом, и хитро прищутив глазки, спросил:

— А это?

На лице у экзаменующегося ясно напечатались средним шрифтом два слова: «Это хуже...»

Пот выступил у него на лбу, и он начал:

— Бе-а-ба, не-а-на. Так что банан!

— Э... Нет, это не банан, — опечалился экзаменатор, — а Багдад. Ну, впрочем, за два месяца лучше требовать и нельзя. Удовлетворительно! Следующего даешь. Писать умеешь?

— Как вам сказать, — бойко ответил второй, — в ведомости только умею, а без ведомости не могу.

— Как это так «в ведомости»?

— На жалованье, фамилие.

— Угу... Ну, хорошо. Годится. Следующий! М... хм.. мм... Что такое МОПР?

Спрашиваемый замялся.

— Говори, не бойся, друг. Ну...

— МОПР?.. Гм... председатель.

Экзаменаторы позеленели.

— Чего председатель?

— Забыл, — ответил вопрошаемый.

Главного экзаменатора хватил паралич, и следующие вопросы задавал второй экзаменатор:

— А Луначарский?

Экзаменуемый поглядел в потолок и ответил:

— Луна... чар... ский? Кхе... Который в Москве...

— Что ж он там делает?

— Бог его знает, — простодушно ответил экзаменуемый.

— Ну, иди, иди, голубчик, — в ужасе забормотал экзаменатор, — ставлю четыре с минусом.

2

Прошел год. И кончившие забыли все, чему выучились. И про Луначарского, и про банан, и про Багдад, и даже фамилию разучились писать в ведомости. Помнили только одно слово «Гудок», и то потому, что всем прекрасно, даже неграмотным, была знакома виньетка и крупные заголовочные буквы, каждый день приезжающие в местком из Москвы.

3

На эту тему разговорились как-то раз рабкор с профуполномоченным. Рабкор ужасался.

— Ведь это же чудовищно, товарищ, — говорил, — да разве можно так учить людей? Ведь это же насмешка! Пер человек какую-то околесицу на экзамене, в ведомости пишет какое-то слово «Сидараф», корову через ять, и ему выдают удостоверение, что он грамотный!

Профуполномоченный растерялся и опечалился.

— Так-то оно так... Да ведь что ж делать-то?

— Как что делать? — возмутился рабкор. — Переучивать их надо заново!

— Да ведь что за два месяца сделаешь? — спросил профуполномоченный.

— Значит, не два, а четыре нужно учить или шесть, или сколько там нужно. Нельзя же, в самом деле, выпускать людей и морочить им головы, уверяя, что он грамотный, когда он на самом деле как был безграмотный, так и остался! Разве я не верно говорю?

— Верно, — слезливо ответил профуполномоченный и скис. Крыть ему было нечем.

М.

«Гудок», 27 ноября 1924 г.



СЧАСТЛИВЧИК

Выиграл! Выиграл!
Вот счастливцев...
Он всегда выигрывает.

Песня

Вечером в квартиру железнодорожника Карнаухова на ст. Н. постучали. Супруга Карнаухова, накинув пуховый платок, пошла открывать.

— Кто там?

— Это я, Дашенька, — ответил за дверь под всхлипывания дождя нежным голосом сам Карнаухов и внезапно заржал, как лошадь.

— Напился, ирод? — заговорила Дашенька, гремя болтом.

Луч света брызнул на лампочки, и в пелене дождя показалось растерянное и совершенно трезвое лицо Карнаухова, а рядом с ним из мрака вылезла лошадиная морда с бельмом на глазу. Супруга отшатнулась.

— Иди, иди, Саврасочка, — плаксивым голосом заговорил Карнаухов и потянул лошадь за повод. Лошадь, гремя копытами, влезла на крыльцо, а оттуда — в сени.

— Да ты?! — начала Дашенька и осталась с открытым ртом.

— Тпррр-у... Дашенька, ты не ругайся... Но... но... о, сволочь, — робко заговорил Карнаухов, — она ничего — лошадка смиренная. Она тут в сенцах постоит!..

Тут Дашенька опомнилась:

— Как это так в сенцах? Кобыла в сенцах? Да ты очумел!!

— Дашенька, нельзя ее на дворе держать. Сарайчика ведь нету. Она животная нежная. Дождик ее смочит — пропадет кобылка.

— И чтоб ты с ней пропал! — воскликнула Дашенька. — Откуда ж ты на мою голову такую гадину привел? Ведь ты глянь, она хромая.

— И слепая, Дашенька, — добавил Карнаухов, — вишь, у ей бельмо, как блин.

— Да ты что ж, смеешься, — взревела Дашенька. — Сколько ты за нее заплатил? И на какого тебе лешего лошадь, несчастный!..

— Полтинник, Дашенька. Пятьдесят копеек всего.

— Полтинник? Да я б два фунта сахара купила...

— Дашенька, верь совести, на дамские ботинки целился. Тебе ж думал подарочек к рождению сделать.

— Какие ботинки, алкоголик?

— Я не алкоголик, Дашенька... Лотерея произошла. Я убежать хотел, а начальник депо поймал. Здравствуй, говорит, Карнаухов, разыгрываю я, говорит, Карнаухов, интересные билеты в лотерею — бери билеты. Я говорю — не хочу. А он отвечает таким голосом: а, не хочешь! Ну, как хочешь... Давно я замечаю, что ты, Карнаухов, меня не любишь. Ну, ладно... Вижу, не возьмешь — беда. Ну, говорю, позвольте билетик. А он уверяет — у тебя, говорит, счастливая натура, обязательно ты выиграешь или дамские ботинки 36, или музыкальный ящик, играющий 19 пьес. Стали таскать билеты, всем пустые, а мне № 98 — хлоп — кобыла! Публика хохочет, я убежать хотел, а начальник депо говорит: нет, стой! Это не по закону. Выиграл, так забирай. А куда я ее дену? Стал дарить — никто не берет, публика хочет.

— Вон! — рывкнула Дашенька. — Вон вместе с кобылой, и чтоб духу твоего не пахло дома!

— Даш...

— Вон! — повторила Дашенька и распахнула двери.

— Ну, — тпррруу. Дашенька, ты послушай... Иди, иди, стерва...

Кобыла загрохотала копытами. Лампа последний раз сверкнула в дождевые полосы, а затем завеса тумана съела счастливец с его выигрышем.

Сквозь шум дождя глухо донеслось:

— Но-но... Чтoб ты издохла.



СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Уважаемый товарищ редактор!

Поместите мой скромный рассказ про японскую собаку-подарок.

Обслуживая поезд № 1 Чита — Москва, пришлось мне при ревизии его обнаружить замечательное присутствие собаки в поезде.

Именно: из Шанхая до Вены ехала австрийская гражданка, жена австрийского консула, находящегося в Японии, в международном вагоне и занимала в нем два места. Одно место № 10 для себя и другое место № 9 для собачки.

Мне пришлось австрийскую гражданку оштрафовать на некоторую сумму за неимение на руках квитанции для собачки. Австрийская гражданка уплатила мне деньги.

Но меня очень заинтересовало, что это за такая собачка, которая едет в первом классе, а так как я ни на каком языке, кроме русского, не говорю, то мне пришлось прибегнуть к проводнику.

— Спроси, — говорю, — у нее, на какой предмет эта собачка?

Проводник поговорил с гражданкой на иностранных языках и отвечает:

— Собачка эта особенная, везет ее гражданка в подарок австрийскому министру иностранных дел, и заплатила она за собачку в Японии 1000 рублей золотом.

— А спроси, — говорю, — на какого черта министру иностранных дел такая дорогая собака?

Он отвечает:

— Оказывается, у австрийского министра есть одна японская собачка-мужчина, а, оказывается, везет она ему собачку-даму.

— Ага, — говорю.

И стал подсчитывать, во что же обошлась невеста-собачка. Тысяча рублей золотом в Японии да билет первого международного класса от Читы до Москвы 187 р. 34 к. Да еще дальше билеты. Кроме того, что собачка кушает? Оказывается: кормят ее на первое — бульон из птицы, на второе — маниэл каше, а на третье блюдо — заграничный шоколад.

— Почему, — говорю, — заграничный?

Оказывается, собачка заявила, что русского шоколада она жрать не будет! Заинтересовала меня собачка чрезвычайно. Одеяло у нее шелковое, подушка шелковая и, кроме того, есть платица — несколько штук — и тоже все шелковые.

— А сапог она, — спрашиваю, — не носит?

— Не, — говорит проводник после иностранного языка, — оказывается, ходит босая.

— А если она, — говорю, — простудится по грязи?

А проводник мне отвечает:

— Глупый ты человек, разве она будет по грязи ходить? Она в автомобиле ездит.

— Как, — говорю, — маленький автомобиль собачий?

— Да нет, — говорит, — в обыкновенном автомобиле. Хозяйка ее на руках возит.

Ну, тут я все узнал, поблагодарил проводника. Говорю: «До свидания». Собачка — никакого на меня внимания.

А проводник говорит: «Она пролетариев не любит».

* * *

Пожалуйста, товарищ редактор, напечатайте мой правдивый рассказ про министерскую собаку, чтоб его прочитали все рабочие на нашем транспорте.

Железнодорожник.
Письмо железнодорожника списал,
ничего не изменяя,
Михаил Булгаков

«Гудок», 4 декабря 1924 г.



ЖЕЛАННЫЙ ПЛАТИЛО

Американский какаду
Поет на ходу.

Начное сообщение

На рассвете в тумане Мурманска против казарм 435-й версты провыл паровозный свисток. И тотчас в жилище железнодорожника началось смятение. Железнодорожник выскочил из теплой постели и, топоча тапками в пол, завыл, как бесноватый:

— Где подштанники?! Марья, где подштанники?.. Ой, жалованье, Марья... Подштанники... Уедут!!

— С нами крестная сила! — вопила Марья, прыгая по избе.

В люльке заревел ребенок.

— Зажигай свет! — стонал железнодорожник. — Ой, Марьюшка, зажигай, сквозь землю подштанники провалились!!

— Вот они, вот они, ох, окаянный. За лавку завалились. Ой, батюшки, свистит... Кормилец, ты хоть штаны надень! Штаны надень, простудишься.

— Свистит! — орал, как одержимый, железнодорожник, натягивая полосатые кальсоны. — Свистит, проклятый, ой, скорей!!

— Штаны...

— К чертовой матери...

Дверь визгнула, и железнодорожник провалился.

Двести саженей он летел в осеннем тумане и поспел. Платежный поезд стоял против казармы и завывал...

— Что же ты, брат, в таком виде растерзанном? — благодушно спросил его плательщик. — Что же ты в голобысом виде бродишь?

— Га-га-га! Га-га-га! — дышал железнодорожник, как пес на жаре. — Не до ви..., не до виду мне... Жало... га-га-га... жало... Жалованье давай скорей...

— Да, надо поспешать, и то, сейчас тронемся, — ответил артельщик. И начал считать: — Держи червь... пятнадцать, шестнадцать...

— Ах ты, елки-палки! — воскликнул железнодорожник в ужасе. — Тронулись, черти!

— Ну, ладно, до 441-й версты доедешь, — успокоил его артельщик, — а там слезешь.

— Слезешь! — передразнил железнодорожник. — Тебе хорошо говорить, а на чем я обратно поеду?

— Ну, променаж сделаешь, — успокоил плательщик, — хотя, верно, в таком легком декольте холодно.

На 441-й версте железнодорожник зажал в кулаке бумажки, выкинулся из поезда и дернул обратно на 435-ю версту.

Прилетев домой, обрушился на лавку и запел:

— Палец приморозил, ах ты, чтоб тебя, возьми и с жалованьем. Марья, давай чаю!

— Штаны-то надень...

— Постой. Не до штанов. Семнадцать, восемнадцать... сорок копеек. Постой, постой... Касса взаимопомощи... Чтоб тебя разорвало! Ошибся! Не хватает! Вот горе-то, ей-богу!

* * *

Ровно через полмесяца железнодорожник заявил своей жене:

— Марья, штаны возле меня на лавку клади, как свисток услышишь, буди. Убью, если не разбудишь, на месте.

Спали тревожно, но никакого свистка не было. Платежный поезд прошел без свистка к 441-й версте.

Железнодорожник стоял у окошка и, тыча в него кулаком, ругал по матери и платежный поезд, и плательщика, и того, кто его послал, и туман, и 435-ю версту.

Заявил жене:

— Ну, он у меня обратно поедет, поймаю, он мне заплатит!

Ждал до 23 числа. Пять дней. И через 5 дней прошел обратно платежный поезд без малейшего свистка и остановки.

Железнодорожник побагровел, взял огрызок карандаша и написал письмо в «Гудок».

«Важно, благородно промелькнул наш желанный платило со скорым поездом. Остается смотреть вдаль, раскинув свои глазные пупыри на плоскогорье небесного свода, и ждать бесконечного предания самих себя обалдению.

Заступись за нас!»

«Гудок», 10 декабря 1924 г.



«РЕВИЗОР» С ВЫШИБАНИЕМ

Новая постановка

У нас в клубе член правления за шиворот ухватил члена клуба и выбросил его из фойе.

*Письмо рабкора с одной из
станций Донецкой ж. д.*

Действующие лица:

Г о р о д н и ч и й
З е м л я н и к а — попечитель богоугодных заведений
Л я п к и н - Т я п к и н — судья
Х л о п о в — смотритель училищ
Ч л е н п р а в л е н и я к л у б а
Ч л е н к л у б а
С у ф л е р
П у б л и к а
Г о л о с а

Сцена представляет клуб при станции Н. Донских железных дорог.
Занавес закрыт.

П у б л и к а. Вре-мя. Вре-мечко! (топает ногами, гаснет свет, за сценой слышны глухие голоса безбилетных, сражающихся с контролером. Занавес открывается. На освещенной сцене комната в доме городничего).

Г о л о с (с галереи). Ти-ша!

Г о р о д н и ч и й. Я пригласил вас, господа...

С у ф л е р (из будки сильным шепотом). С тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие.

Г о р о д н и ч и й. С тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор!

Л я п к и н - Т я п к и н. Как ревизор?

З е м л я н и к а. Как ревизор?

С у ф л е р. Мур-мур-мур...

Г о р о д н и ч и й. Ревизор из Петербурга. Инкогнито и еще с секретным предписанием.

Л я п к и н - Т я п к и н. Вот те на!

З е м л я н и к а. Вот не было заботы, так подай!

Х л о п о в. Господи Боже, еще и с секретным предписанием.

Г о р о д н и ч и й. Я как будто предчувство... *(за сценой страшный гвалт. Дверь на сцену распахиывается, и вылетает член клуба. Он во френче с разорванным воротом. Волосы его взъерошены).*

Ч л е н к л у б а. Вы не имеете права пхаться! Я член клуба *(на сцене смятение).*

П у б л и к а. Ах!

С у ф л е р *(змеиным шепотом)*. Выплюнься со сцены. Что ты, сдурел?

Г о р о д н и ч и й *(в ошолоблении)*. Что вы, товарищ, с ума сошли?

П у б л и к а. Ги-ги-ги-ги...

Г о р о д н и ч и й *(хочет продолжать роль)*. Сегодня мне всю ночь снились... Выкинься со сцены, Христом Богом тебя прошу... Какие-то две необыкновенные крысы... В дверь уходи, в дверь, говорю! Ну, сукин сын, погубил спектакль...

З е м л я н и к а *(шепотом)*. В дверь налево. В декорацию лезешь, сволочь.

Ч л е н к л у б а *(мечется по сцене, не находя выхода)*.

П у б л и к а *(постепенно веселя)*. Бис, Горюшкин! Браво, френч!

Г о р о д н и ч и й *(теряясь)*. Право, таких я никогда не видел... Вот мерзавец!

С у ф л е р *(рычит)*. Черные, неестественной величины. Пошел ты к чертовой матери, хоть от будки отойди.

П у б л и к а. Га-га-га-га-га...

Г о р о д н и ч и й. Я прочту вам письмо... Вот что он пишет *(за сценой шум и голос Члена правления: «Где этот негодяй?» Дверь раскрывается, и появляется Член правления на сцене. Он в пиджаке и в красном галстуке)*.

Ч л е н п р а в л е н и я *(грозно)*. Ты тут, каналья?

П у б л и к а *(в восторге)*. Браво, Хватаев!.. *(слышен пронзительный свист с галереи)*. Бей его!!!

Ч л е н к л у б а. Вы не имеете права. Я — член!

Ч л е н п р а в л е н и я. Я те покажу, какой ты член. Я тебе покажу, как без билета лазить!!!

Земляника. Товарищ Хватаев! Вы не имеете права применять физическую силу при советской власти.

Городничий. Я прекращаю спектакль *(снимает баки и парик)*.

Голос *(с галереи, в восхищении)*. Ванька, он молодой, глянь! *(Свист.)*

Член правления *(в экстазе)*. Я те покажу!!! *(хватает за шиворот члена клуба, встряхивает им, как тряпкой, и швыряет им в публику)*.

Член клуба. Караул!!! *(с глухим воплем падает в оркестр)*.

Городничий. Пахом, давай занавес!

Земляника. Занавес! Занавес.

Публика. Милицию!!! Милицию!!!

Занавес закрывается.

«Гудок», 24 декабря 1924 г.



ПО ТЕЛЕФОНУ

У нас на ст. Щелково Северных ж. д. занимаются частными разговорами по служебному телефону...

Действующие лица:

Голос станционного чина
Голос барышни
Голос горничной
Голос чужой жены
Загробный голос
Голос мужа

На станции Индивидуальная в 30-ти верстах от Москвы в углу висит телефон и скучает. Блестит трубка, а под нею надпись:

«Частные разговоры по слу. телефо. воспрещает». Станционный чин подходит к трубке и снимает ее.

Голос чина. Дайте город... Мерси...

Голос барышни. 2-15.

Голос чина. Пожалста 05-07-08... Да... Мерси... Это кто?

Голос горничной. Это я, Феклуша.

Голос чина (*шепотом*). Что, Пал Федорыч дома?

Голос горничной. Нет, они в тресте.

Голос чина. Тогда попросите Марию Николаевну...

Голос чужой жены. Я слушаю.

Голос чина. Здрасьте, Мария Николаевна...

Голос чужой жены. Ах, это вы, Илюша! А я вас не узнала.

Голос чина (*страстно и печально*). Вот как, уже не узнаете! Нехорошо! Так недавно и уже забыт. Один... в глуши... А вы там, в столице... (*вздыхает*).

Голос чужой жены (*кокетливо*). Отчего вы так вздыхаете?

Голос чина. Так...

Голос чужой жены. Откуда вы звоните, Илюша?

Г о л о с ч и н а. От себя, со станции.

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. По служебному?

Г о л о с ч и н а. Конечно, врэман, Мари...

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Ну?

Г о л о с ч и н а. Когда же вы приедете?

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Сегодня не могу (*шепотом*).
Муж остался.

Г о л о с ч и н а. Черт! А как же командировка?

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы (*печально*). Отложили...

Г о л о с ч и н а. Чер!.. Мари!

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Ну?

Г о л о с ч и н а. Мари, ты помнишь?

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Не смейте мне говорить
«ты». Гадкий!

Г о л о с ч и н а. Я гадкий? Вот как, Мари! Я несчаст-
ный, а не гадкий, Мари. Я так скучаю! Тут снег, сосны, оди-
ночество... И вот я один... Со мной лишь верный мой това-
рищ браунинг. Эх!

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Илюша, как вам не стыдно
так малодушничать?

З а г р о б н ы й г о л о с. Дайте Индивидуальную.

Г о л о с б а р ы ш н и. Пи-и! Занято...

Г о л о с ч и н а. Мари! Ты любишь меня?

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Отстаньте!

З а г р о б н ы й г о л о с. Дайте Индивидуальную...

Г о л о с б а р ы ш н и. Пи-и-и!.. Занято...

З а г р о б н ы й г о л о с. Что за черт! Кто там прице-
пился к станции! У меня важная телефонограмма.

Г о л о с ч и н а. Я решил, Мари, больше я не могу тя-
нуть. Ответь мне, или пуля из моего браунинга прекратит
мои мучения навеки...

Г о л о с г о р н и ч н о й (*испуганно*). Барыня, барыня,
отойдите от телефона... Барин вернулся...

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы (*не слушая*). Илюша, вы не
сделаете этого!

Г о л о с ч и н а. Скажи!

З а г р о б н ы й г о л о с. Дайте Индивидуальную. Черт
бы их побрал!

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Ну, хорошо, люблю...

Г о л о с м у ж а. Ну, наконец-то я тебя поймал! Так ты любишь, мерзавка? Отвечай! Кого ты любишь? Кого? Кого? Гадина! (*слышно, как хрустят пальцы*).

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы. Жорж, опомнись, я разговаривала с Катей!

Г о л о с м у ж а. Знаю я эту Катю! Эта Катя с усами. Это — Илюшка с Индивидуальной!!!

Г о л о с ч у ж о й ж е н ы (*в ужасе*). Неправда.

Г о л о с м у ж а (*вырывая трубку*). Вы слушаете? Если еще раз...

З а г р о б н ы й г о л о с. Дайте Индивидуальную... У меня телефонограмма!

Г о л о с б а р ы ш н и (*устало*). Ну хорошо. Соединяю.

З а г р о б н ы й г о л о с. Слава те Господи! Передайте...

Г о л о с м у ж а. Ах, вот как, передать? Я вам сейчас передам. Если... Если вы еще раз осмелитесь звонить по моему номеру (*задыхаясь*). Я вам всю морду разобью! Мерзавец.

З а г р о б н ы й г о л о с (*онемел*).

Г о л о с м у ж а. Станционный негодай!

З а г р о б н ы й г о л о с (*опомнился*). Шта? Как вы смеете? Я начальник отделения!

Г о л о с м у ж а. Ты сволочь, а не начальник отделения.

З а г р о б н ы й г о л о с (*визгливо*). Шта? Да вы с ума сошли! Барышня!.. Барышня!!

Г о л о с б а р ы ш н и (*в отчаянии*). Повесьте трубку. Я вас не туда присоединила.

З а г р о б н ы й г о л о с. Кто говорит?! Я вас под суд отдам! Дать мне сюда начальника станции!!

Г о л о с м у ж а (*беснуясь*). Молчать!

Г о л о с б а р ы ш н и. Господи Иисусе! Повесьте трубку... (*с треском разъединяет*).

Молчание.

«Гудок», 30 декабря 1924 г.



ЦЕЛИТЕЛЬ

12 декабря ремонтный рабочий Вереицовой ветки Западных т. Баяшко, будучи болен ногамн и зная, что у его больного соседа находится прибывший из Уборок фельдшер гр. К., попросил осмотреть н его, но фельдшер не осмотрел т. Баяшко, а сказал, что его ноги надо поотрубить, н уехал, не оказав никакой помощи.

Мишус

Вошел, тесемки на халате завязал и крикнул:

— По очереди!

В первую очередь попал гражданин с палкой. Прыгал, как воробей, поджав одну ногу.

— Что, брат, прикрутило?

— Батюшка фельдшер! — запел гражданин.

— Спускай штаны. Ба-ба-ба!

— Батюшка, не пугай!

— Пугать нам нечего. Мы не для того приставлены. Приставлены мы лечить вас, сукиных сынов, на транспорте. Гангрена коленного сустава с поражением центральной нервной системы.

— Батюшка!!

— Я сорок лет батюшка. Надевай штаны.

— Батюшка, что ж с ногой-то будет?

— Ничего особенного. Следующий! Отгниет по колесно — и шабаш.

— Бат...

— Что ты расквакался: «батюшка, батюшка». Какой я тебе батюшка? Капли тебе выпишу. Когда нога отвалится, приходи. Я тебе удостоверение напишу. Соцстрах будет тебе за ногу платить. Тебе еще выгоднее. А тебе что?

— Не вижу, красавец, ничего не вижу. Как вечером — дверей не найду.

— Ты, между прочим, не крестись, старушка. Тут тебе не

церковь. Трахома у тебя, бабушка. С катарактой первой степени по статье А.

— Красавчик ты наш!

— Я сорок лет красавчик. Глаза вытекут, будешь знать!

— Краса!!

— Капли выпишу. Когда совсем ни черта видеть не будут, приходи. Бумажку напишу. Соцстрах тебе за каждый глаз по червю будет платить. Тут не реви, старушка, в соцстрахе реветь будешь. А вам что?

— У малышки морда осыпалась, гражданин лекпом.

— Ага. Так. Давай его сюда. Ты не реви. Тебя женить пора, а ты реवेशь. Эге-ге-ге...

— Гражданин лекпом. Не терзайте материнское сердце!

— Я не касаюсь вашего сердца. Ваше сердце при вас и останется. Водяной рак щеки у вашего потомка.

— Господи, что ж теперь будет?

— Гм... Известно что: прободение щеки, и вся физиономия набок. Помучается с месяц — и крышка. Вы тогда приходите, я вам бумажку напишу. А вам что?

— На лестницу не могу взойти. Задыхаюсь.

— У вас порок пятого клапана.

— Это что такое значит?

— Дыра в сердце.

— Ловко!

— Лучше трудно.

— Завещание написать успею?

— Ежели бегом добежите.

— Мерси, несусь.

— Неситесь. Всего лучшего. Следующий! Больше нету? Ну, и ладно. Отзвонил — и с колокольни долой!

«Гудок», 4 января 1925 г.



АПТЕКА

Аптека НКПС на Басманной открыта
только по будням, а в праздники заперта.
А если кто заболест, как же тогда быть?

Из письма рабкора

«Снег. На углу стоит аптека...»

— ...Любовь сушит человека... — напевал приятным голосом человек в сером, стоя у крыльца. В окнах по бокам крыльца красовались два сияющих шара — красный и синий, — и картинка, изображающая бутылку боржома.

Очень бледный гражданин в черном пальто выскочил из-за угла, кинулся на крыльцо и уперся в висячий замок.

— Вы не бейтесь, — сказал ему серый, — заперто.

— Как это заперто? Ох, голубчик, — бледнея, заговорил черный, — я тебя умоляю. Ох, взяло, говорю тебе, взяло. Нанискосок.

— Аль живот? — участливо спросил.

— Живот... Голубчик, родной, — тоскливо забормотал гражданин, — вот рецептик... По пять капель, ох, опию... Три раза в день!!! Ой, пропаду... Опять взяло... По кап... пять... Пузырь с водячей горой... Я вас умоляю, товарищ!!!

— Что вы меня умоляете, я караюлю. Меня умолять нечего.

— О-го-го-го-го... — неожиданно закричал гражданин, звонко и широко открывая рот. Прохожие шарахнулись от него. — Ух, отпустило, — внезапно стихая, добавил гражданин и вытер пот со лба. — По какому праву заперто?

— Да день-то какой сегодня?

— Воск-кре... Воскресенье. Ох, голубчики родные, воскресенье, воскресеньице, милые.

— Завтра, в понедельник, приходи... Впрочем, нет, завтра не приходи. Тоже праздник... После Нового года приходи.

— Я в старом помру, ох-ох-ох-о-оо!

- Иди в другую аптеку, что же поделывать!
- Где ж другая-то здесь?
- Я не знаю, голубчик, у милиционера спроси.

Черный сорвался с крыльца, завился винтом, несколько раз вскрикнул задушенно и полетел наискосок через улицу к милиционеру.

— Живот болит, товарищ милиционер, — кричал он, размахивая рецептом, — умоляю вас...

Милиционер вынул изо рта папиросу и, взмахивая рукой, стал объяснять гражданину, куда бежать...

Тот потоптался еще секунд пять и исчез.

М. Б.

«Гудок», 7 января 1925 г.



ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

На ст. Бобринская Юго-Зап. есть кооперативный ларек. Кого бы ни посадили в него работать, обязательно через два месяца растрата и суд.

Из письма рабкора

1

Гражданин Талдыкин сидел в кругу приятелей и слушал. Гражданина Талдыкина лицо сияло, приятели чокались с Талдыкиным.

— Поздравляем тебя, Талдыкин. Покажи себя в должности заведующего ларьком.

2

Через два месяца гр. Талдыкин сидел на скамье подсудимых и, тихо рыдая, слушал речь члена коллегии защитников, стоящего сзади него, с пальцами, заложенными в проемы жилета.

— Товарищи судьи! — завывал член коллегии. — Прежде чем говорить о том, растратил ли мой подзащитный 840 р. 15 коп. золотом, зададим себе вопрос — существовали ли эти 840 р. 15 коп. золотом вообще на свете? Внимательное рассмотрение шнуровой книги № 15 показывает, что этих денег нет. Спрашивается, что ж тогда растратил гр. Талдыкин? Ничего он не тратил, ибо каждому здравомыслящему человеку понятно, что нельзя растратить того, чего нет! С другой стороны, шнуровая книга № 16 показывает, что 840 р. 15 к. золотом существуют, но раз так, раз они налицо, значит, и растраты нет!..

Судьи, совершенно ошеломленные, слушали защитника, и с них капал пот.

И с Талдыкина слезы.

Судья стоял и читал:

— «...но, принимая во внимание... условным в течение трех лет».

Слезы высыхали на лице Талдыкина.

Члены правления ТПО сидели и говорили:

— Вот свинья Талдыкин! Нужно другого назначить. Видно, Бинтову придется поработать в ларьке. Бинтов, получай назначение.

Гр. Бинтов сидел на скамье подсудимых и слушал защитника.

А защитник пел:

— Я утверждаю, что, во-первых, этих 950 р. 25 к. вовсе не существует; во-вторых, доказываю, что мой подзащитный Бинтов их не брал; а в-третьих, что он их в целости вернул!

— ...Принимая во внимание, — мрачно говорил судья и покачивал головой по адресу Бинтова, — считать условным.

В ТПО:

— К чертям этого Бинтова, назначим Персика.

Персик стоял и, прижимая шапку к животу, говорил последнее слово:

— Я больше никогда не буду, граждане судьи...

За Персиком сел Шумихин, за Шумихиным — Козлодоев.

В ТПО сидели и говорили:

— Довольно. Назначить ударную тройку в составе 15 товарищей для расследования, что это за такой пакостный ларек! Кого ни посадишь, через два месяца — нарсуд! Так продолжаться не может. На кого ни посмотришь — светлая личность, хороший, честный гражданин, а как сядет за прилавок, моментально мордой в грязь. Ударная тройка, поезжай!

Ударная тройка села и поехала.

Результаты расследования нам еще неизвестны.

Михаил Б.

«Гудок», 9 января 1925 г.



КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ

На ст. Валдай рабочий службы пути остался без продуктов, потому что в вагон-лавке не выдали продуктов без круглой печати. А пока жена рабочего искала печать, лавка уехала.

Рабкор

ГЛАВА 1

Вагон-лавка приехала на некую станцию.

ГЛАВА 2

Жена рабочего службы пути Ферапонта Родионова, законная Секлетей, явилась в лавку с заверенной на пять рублей книжкой.

ГЛАВА 3

Приказчик порхал, как бабочка, вешал, мерил, сыпал, резал, заворачивал, упаковывал. Отвесив, отмерив, отсыпав, отрезав, завернув и упаковав, взял книжку Секлетей, поглядел в нее, распаковал, развернул, обратно сыпал и сказал:

ГЛАВА 4

— Не могу-с!

ГЛАВА 5

— Почему? — спросила пораженная Секлетей.

ГЛАВА 6

— Круглой печати у вас нету.

ГЛАВА 7

— Где ж они потеряли свои бесстыжие глаза? — спросила Секлетей, неизвестно на кого намекая — не то на помощника начальника участка, подписывающего книжку, не то на артельного старосту-ротозея.

ГЛАВА 8

— Дуй, тетка, в местком или к другому помощнику начальника участка или начальнику станции, — посоветовал приказчик...

ГЛАВА 9

Тетка дунула, все время ворча что-то про сукиных сынов.

ГЛАВА 10

— Приложите мне круглую печать, да поскорее, — попросила она в месткоме.

— С удовольствием бы, тетка, и печать у нас есть, да не имеем права, — ответил ей местком и начальник станции.

ГЛАВА 11

— А я имею право, я бы и приложил тебе, тетка, но у меня печати нет, — ответил ей другой помощник начальника участка.

ГЛАВА 12

Тетка взвыла и кинулась в лавку.

ГЛАВА 13

А та взяла и уехала.

ГЛАВА 14

А контора, составляя списки на жалованье, вычла с Ферапонта Родионова пять рублей за якобы взятые продукты.

ГЛАВА 15

А Ферапонт Родионов ругался скверными словами, узнав про это. И был совершенно прав.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

В общем и целом, безобразники и волокитчики сидят на некоей станции и в ее окрестностях.

М. Б.

«Гудок», 11 января 1925 г.



ГЕНИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Секретарь учка, присутствовавший на общем собрании членов союза на ст. Переездная Донецких железных дорог, ухитрился заранее не только заготовить резолюции для собрания, но даже записать его протокол.

Все были поражены такой гениальностью секретаря.

Рабкор Гвоздь

1

Секретарь учка сидел в зале вокзала и грыз перо. Перед секретарем лежал большой лист бумаги, разделенный продольной чертой. На левой стороне было написано: «Слушали», на правой: «Постановили». Секретарь вдохновенно глядел в потолок и бормотал:

— Итак, стало быть, вопрос о спецодежде. Верно я говорю, товарищи? Совершенно верно! — сам себе ответил секретарь хором. — Правильно! Поэтому: слушали, а слушав, постановили... — Секретарь макнул перо и стал скрести: — Принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев, снабжая спецодеждой в общем и целом каждого и всякого. Принимается, товарищи? Кто против? — спросил секретарь у своей чернильницы.

Та ничего не имела против, и секретарь написал на листе: «Принято единогласно». И сам же себя похвалил:

— Браво, Макушкин!

— Таперича, что у нас на очереди? — продолжал секретарь. — Касса взаимопомощи: ясно, как апельсин. Ну, в кассе денег нет, это — ясно, как апельсин. И, как апельсин же, ясно, что ссуды вовремя не возвращают. Стало быть, слушали о кассе, а постановили: «Всемерно содействовать развитию кассы взаимопомощи, целиком и полностью привлекая транспортные низы к участию в кассе, а равно и принять меры к увеличению фонда путем сознательного и своевременного возвращения ссуд целиком и полностью!»

— Кто против? — победоносно спросил Макушкин.

Ни шкаф, ни стулья не сказали ни одного слова против, и Макушкин написал: «Единогласно».

Открылась дверь, и вошел сосед.

— Выкатывайся, — сказал ему Макушкин, — я занят: протокол собрания пишу.

— Вчерашнего? — спросил сосед.

— Завтрашнего, — ответил Макушкин.

Сосед открыл рот и так, с открытым ртом, и ушел.

2

Зал общего собрания был битком набит, и все головы были устремлены на эстраду, где рядом с графином с водой и колокольчиком стоял товарищ Макушкин.

— Первым вопросом повестки дня, — сказал председатель собрания, — у нас вопрос о спецодежде. Кто желает?

— Я, я... я... я... — двадцатью голосами ответил зал.

— Позвольте, товарищ, мне, — музыкальным голосом попросил Макушкин.

— Слово предоставляется т. Макушкину, — почтительно сказал председатель.

— Товарищи, — откашлявшись, начал Макушкин и заложил пальцы в жилет, — каждому сознательному члену союза известно, что спецодежда является необходимой...

— Правильно!! В июне валенки выдавали! — загремел зал.

— Попрошу не перебивать оратора, — сказал председатель.

— Поэтому, дорогие товарищи, необходимо принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев.

— Верно! Браво! — закричал зал.

— Парусиновые штаны прислали в январе!!

— Ти-ше!

— Предлагаю ораторам не высказываться, чтобы не терять времени, — сказал Макушкин, — а прямо приступить к обсуждению резолюции.

— Кто имеет резолюцию? — спросил председатель, сбилаясь с пути.

— Я имею, — скромно сказал Макушкин и мгновенно огласил резолюцию.

— Кто против? — сказал изумленный председатель.

Зал моментально и единодушно умолк.

— Пишите: при ни одном воздержавшемся, — сказал пораженный председатель секретарю собрания.

— Не пишите, товарищ, у меня уже записано, — сказал Макушкин, сияя глазами.

Общее собрание встало, как один человек, и впилося глазами в Макушкина.

— Центральный парень, — сказал кто-то восхищенно, — не то что наши сиволапые.

*

Когда общее собрание кончилось, толпа провожала Макушкина по улице полверсты, и женщины поднимали детей на руки и говорили:

— Смотри, вон Макушкин пошел. И ты когда-нибудь такой будешь.

«Гудок», 15 января 1925 г.



КОЛЛЕКЦИЯ ГНИЛЫХ ФАКТОВ

(письма рабкоров)

ФАКТ 1

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ФЕЛЬДШЕР ЖЕРТВОВАЛ СУКНО В МОПР

Этот гнилой факт, насквозь пронизанный алкоголизмом, получился в нашем Н-м клубе Западных железных дорог, когда был организован вечер МОПРа.

Шел вечер крайне торжественно, с бойкой продажей сукна с аукциона в пользу МОПРа.

Тогда неожиданно грянул вопль, похожий на поросенка.

Все рабочие головы обернулись, как одна.

И что же они увидали?

Нашего фельдшера приемного покоя. Он качался, как маятник, совершенно красный.

Все задались вопросом: откуда появился фельдшер?

И, во-вторых, — не пьян ли он?

И оказалось, что он действительно пьян, но, что удивительнее всего, мгновенно оказались пьяными и завклубом, и председатель правления, и члены наших комиссий.

Один из пораженных членов клуба выступил и заявил фельдшеру:

— Вы не похожи на себя!

А фельдшер ответил с дерзостью:

— Не твое дело.

Тут все поняли, что нарезался фельдшер в клубе, совместно с правлением, якобы пивом.

Но мы знаем, какое это пиво!

Несмотря на опьянение, фельдшер сквозь всю толпу проник к эстраде и в одно мгновение ока выиграл сукно с аукциона, причем всем заявил:

— Видали, какой я пьяный! Назло вам жертвую сукно в МОПР!

Лишь только аукционист объявил о его пожертвовании, как фельдшер, увидев, что сукно его забирают, раскаялся в своем поступке и с плачем объявил:

— Это я сделал без сознания, в состоянии опьянения. Факт считаю недействительным и требую возвращения сукна.

При общих криках ему с презрением вернули сукно, и он покинул клуб.

После этого председатель правления, упав, разбил себе лицо в кровь, а заведующего клубом вывела из клуба его невеста.

Вот какие вечера...

Позор писать!

Письмо списал

М. Булгаков

«Гудок», 17 января 1925 г.



РЕВИЗИЯ

(из рабкоровских сцен с натуры)

Дверь станционного помещения открылась и впустила ревизора, а за ревизором ввалилось бледное станционное население.

Ревизор, впрочем, произвел не страшное, а скорее приятное впечатление. Он был гладенько выбрит, почему-то пахнул резедой, руки его были сложены на животике, и животик этот колыхался, а левая ножка прихрамывала, как простреленная. Кроме того, он смеялся оригинальным образом — с треском и звоном, как будто внутри у него помещался музыкальный ящик.

— Только в управлении Западных таких и делают! — восторженно шепнул один конторщик другому.

Начал ревизию ревизор с того, что выпустил свою музыку:

— Хе-хе-хе, — а затем заиграл дальше: — А у вас здесь очень мило... Столики, окошечки, бумажки... Э-э-э... это что такое?

— Конторские книги, — отрапортовал начальник станции.

— Очень, очень красивые. Тяжелые какие. А-а... э... это что такое? Рядом с книгами? Черненькое... кругленькое?

— Чернильница, — отрапортовал начальник станции.

— Помилуйте, какая же чернильница! Что вы, мой дорогой!.. Которая с бантом?

— Это конторщица, — удивленно ответил начальник станции.

— Очень, очень мила.

Тут ревизор насадил на нос пенсне и через все помещение проследовал непосредственно к конторщице. Левая ножка его при этом запрыгала, как на пружине.

- Драсте, товарищ!
- Здравствуйте, — ответила конторщица, почему-то густо краснея.
- Трудитесь все? Очень, очень хорошо. Пишете?
- Пишу, — ответила конторщица замогильным голосом.
- Что же вы пишете, милая? — спросил ревизор и изогнулся у стола.
- Все, что ни прикажут, — ответила конторщица почтительно.
- Э-э-э... Да вы послушная, как я вижу. Это хорошо! А это что такое?
- Кавычки, — ответила конторщица.
- Какая прелесть! Никогда не видал таких красивых кавычек. Только такой ручкой и можно вывести такие прелестные кавычки. Чья это ручка, позвольте узнать?
- Казенная, — ответила конторщица, а потом добавила, еще гуще краснея: — А это моя собственная. Не трогайте.
- Очень, очень милая ручка. Такой бы ручке да маникюрчик, а она кавычки тут всякие пишет! И глазки. Ваше как имя, товарищ конторщица?
- Анна, — ответила конторщица.
- Анютины глазки, стало быть! Хе-хе... Ги-ги!
- Ги-ги?! — очень удивленно отозвались станционные.
- Ну, хорошо, не буду вам мешать. Я вижу, что у вас все в порядке. Тетради... Книги... Очень, очень мило. Ну-с, итак, всего лучшего. Оревуар!
- Честь имеем кланяться, — отозвались станционные и, почтительно расступившись, пропустили ревизора. Он торжественно прошел в дверь и отбыл.
- Когда дверь за ним закрылась, начальник станции развел руками и заявил:
- Сорок пять лет живу на свете и ничего подобного никогда не видел. Вот это ревизор так ревизор!
- Легкая личность, — согласились все и разошлись по своим домам.

БОГЕМА

КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ

1

ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС

Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «грозный п р и з р а ю»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю — грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучал присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически.

— Что ж это вы так приуныли? (это Гензулаев).

— Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

— Н е с п о р ю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами к о н ч и л с ь. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить — значит, я подозрительный.)

— За насмешки.

— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил: а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так, так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в семь с половиной дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем... вспоминая сейчас некоторые пьесы 1921 — 1924 гг. и начинаю сомневаться...), ну, не первую, — вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственное, на что я надеюсь, — это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас

реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи: «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

- 1) в Тифлисе открыты все магазины;
- 2) в Тифлисе есть вино;
- 3) в Тифлисе очень жарко и дешевы фрукты;
- 4) в Тифлисе много газет и т. д... и т. д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

— Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал куда следует заявление и в графе, в которой спрашивается:

— А зачем едешь?

Написал с гордостью:

— В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

— Зачем едете?

— Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

— В особый отдел.

— А зачем? — спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

— Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

— Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю, — ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.

1) В 1907 г., получив 2 р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф;

2) в 1913 г. женился, вопреки воле матери;

3) в 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромный, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнуры зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я, — поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно, — задумчиво отозвался симпатичный.

— Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот черный, как вакса, и ему лет 45. А я блондин, и мне 28.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

— Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

— Вы бухгалтер?

— Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечайте быстро, не задумывайтесь, — скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

— Пьесы сочиняете?

— Да. Приходится.

— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

— Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:

— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой:

— Проводи литератора наружу.

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для

меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но забудь!!!

II

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидел у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде верером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».

— Возьмите меня с собой, — попросил я.

— Не возьму, — ответил бородатый.

— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, — сказал я.

— Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

— А какая пьеса? — спросила она.

— Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец теплушки.

— Еще Гензулаев.

— Не знаю такого.

— Мне необходимо уехать.

— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкамаривать. Ехать-то долго, а мы сами из Политпросвета.

— Я не буду выкамаривать, — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, — на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

— У вас провизии нету?

— Денег немного есть.

Бородатый подумал.

— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

— Все что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

— Фельетон — моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, — басом сказали ноги, — я пушу товарища фельетониста.

— Ну, пусть, — растерянно сказал Федор с бородой. — А какой фельетон вы напишете?

— Вечные странники.

— Как будет начинаться? — спросили нары. — Да вы полезайте к нам чай пить.

— Очень хорошо — вечные странники, — отозвался Федор, снимая сапоги, — вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли леса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!



ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТЕНГАЗЕТЫ

(ее собственный дневник)

Я — стенгазета. Издаюсь на ст. Павлоград Южных жел. дор. Зовут меня «Клевак». Имя, может быть, и не особо красивое, но рабочее. Так меня окрестил мой папаша — профкружок в честь инструмента, которым вытягивают гнилые шпалы из-под пути.

*

В начале моей жизни (в декабре 1923 года) меня писали на больших листах в пяти экземплярах, причем я висела на всех стенах.

*

Через некоторое время меня стали писать на трех листах, а потом на одном. Причем мой заголовок нарисовали на доске, а статьи на листах бумаги приклеивали на нее. Из двухнедельной меня сделали постоянной и на старые новости наклеивали новые новости. Жаль только, что вися под постоянным заголовком, я никуда из месткома не выходила.

*

В одно прекрасное время вместо новостей на мне почему-то появились объявления, и притом в таком количестве, что я совершенно ослепла. Невероятно воняло клеем, и как сквозь сон я слышала, что мой профкружок распался к чертям.

*

Однажды летом 1924 года я слышала разговор, что будто бы меня берется издавать ячейка комсомола.

*

И точно: однажды утром с меня содрали все бельмы, и я вижу, что передо мной стоит секретарь месткома и внимательно смотрит на меня. Проходили всякие люди и спрашивали:

— Чего ты смотришь?

Он ответил:

— Я хочу раскрасить ее попривлекательнее и поидейнее, но рисовать совершенно не умею.

*

Тем не менее, не умея рисовать, он нарисовал эскиз идейного содержания, потратил на это дело восемь дней.

*

Затем он призвал нашего уважаемого маляра-артиста — комика-режиссера — бывшего ремонтного рабочего, а ныне истопника и совершенно безыдейного художника Петрушку и вручил ему деньги и свой эскиз.

*

Петрушка данный ему эскиз потерял и нарисовал меня по своему собственному эскизу: желтыми буквами по зеленому фону, устроив таким образом надо мной пивную вывеску.

Когда я высохла, меня торжественно внесли в местком, и не смотря на то, что я была единогласно признана двухнедельной, в течение пяти месяцев выпустили всего лишь три номера.

*

Самым лучшим периодом моей жизни был третий номер, который был очень хорошо раскрашен и вывешен не в месткоме, а в культуголке, где рабочие любовались мной.

*

Затем про меня почему-то забыли, а так как на мне была карикатура, изображающая рабочих, бегущих в ватерклозет, то какой-то шутник изобразил на мне кучки брызжущего человеческого кала, испакостив таким образом всю мою физиономию.

*

Можете судить сами.

*

Однажды вечером подошел ко мне секретарь месткома, увидел на мне безобразие и содрал меня, сказав стоящим рядом комсомольцам:

— Надо, ребята, следить за газетой и не подрывать ее авторитета дурацкими рисунками.

*

Слова его были очень умные. Но так как он, содрав меня, ничего на доску не навесил, то очень скоро меня поперли со стены и поставили в темный коридор.

*

Где я стою и до сих пор.

*

Стою и думаю — до каких же пор я буду стоять?

Разные люди ходят вокруг меня и говорят, что вся моя редколлегия яростно занимается физкультурой. Кроме

этого, в местном кинематографе появились две изумительные по глупости картины: одна — «Мечь маркитантки», а другая — «Муж, жена и вопрос». Эти картины проглотили не только все внимание редакторов, но и все их главные средства.

*

Однако где эти 93 коп. — неизвестно. Боюсь, не слопала бы их маркитантка?

*

Таким образом, я стою в пыли и паутине. Зарастаю грязью и думаю, что в один прекрасный день вместе с моим пивным заголовком расколют на дрова.

*С почетом
стенгазета «Клевак»*

Дневник записали совместно рабкор Клевак и фельетонист Булгаков.

«Гудок», 5 февраля 1925 г.



УДАЧНЫЕ И НЕУДАЧНЫЕ РОДЫ

558-го рабкора рассказ

Чуден Днепр при тихой погоде, но гораздо чуднее Московская участковая страхкасса М.-Б. Балт. ж. д.

Приходит рабочая 2-го околотка пути, чтобы получить пособие после родов за 8 недель. Бюллетень у нее честь честью — подписан врачебно-контрольной комиссией.

Взяли бюллетень и сказали:

— Придите через полторы недели.

Она послушно пришла через полторы недели и получила по 87 коп. за 40 дней.

— А скажите, дядя, — спросила рабочая, — сколько дней в 8 неделях?

— Разно бывает, и больше и меньше, — ответили ей.

И точно: тут же открывается дверь и входит вторая рабочая того же самого околотка и того же разряда по тарифной сетке, которая родила, но на четыре дня удачнее: у нее в 8 неделях вышло 44 дня.

Тогда первая подняла бунт:

— Объясните — почему?!

На что ей ответили страхкассиры:

— Мы с вами, дорогая родильница, времени терять не можем. Возвратитесь к воспитанию вашего дитяти.

— А я жаловаться буду!

— Пожа... пожа...

— А куды?

— Туды.

И показали в окно.

Указательным пальцем.
Она постояла.
Плюнула.
И ушла.

«Гудок», 8 февраля 1925 г.

Михаил Б.



ЗАЛОГ ЛЮБВИ

(роман)

1. ЛУННЫЕ ТЕНИ

Угасли звуки на станции. Даже неутомонный маневровый паровоз перестал выть и заснул на пути. Луна, радостно улыбаясь, показалась над лесом и все залила волшебным зеленоватым светом. А тут еще запахла акация, ударили в голову, и засвистал безработный соловей... И тому подобное.

Две тени жались в узорной тени кустов, и в лунном отблеске изредка светились проводничьи пуговицы.

— Ведь врешь ты все, подлец, — шепнул женский голос, — поиграешь и бросишь.

— Маруся, и тебе не совестно? — дрожа от обиды, шептал сиплый голос. — Я, по-твоему, способен на такую пакость? Да я скорей, Маня, пулю пушу себе в лоб, чем женщине обману!

— Пустишь ты пулю, держи карман, — бормотал женский голос, волнуясь. — От тебя жди! Сорвешь цвет удовольствия, а потом сел в скорый поезд, только тебя и видели. Откатись ты лучше от меня!

«Целуются, черти, — тоскливо думал холостой начальник станции, сидя на балконе, — луна, положим, такая, что с семафором поцелуешься».

— Знаем, — шептала тень, отталкивая другую тень, — видали мы таких. Поешь, поешь, а потом я рыдать с дитем буду, кулаками ему слезы утирать.

— Я тебя не допущу рыдать, Манюша. Сам ему, дитю, если такое появится, кулаками слезы вытру. Он у нас и не пикнет. Дай в шейку поцелую. Четыре червонца буду младенцу выдавать или три.

— Фу ты, наваждение, — крикнул начальник станции и убрался с балкона.

— Одним словом, уходи.

— Дай-ка губки.

— На... И откатывайся. Прилип, как демон.

«Неподатливая баба, — думала тень, поблескивая пуговицами. — Ну, я тебя разгрызу! Ах ты, черт. Мысль у меня мелькнула... Эх, и золотая ж голова у меня...»

— Знаешь, Маруся, что я тебе скажу. Уж если ты словам моим не веришь, так я тебе залог оставлю.

— Уйди ты с залогом, не мучай!

— Нет, Маруся, ты погоди. Ты знаешь, что я тебе оставлю, — тень зашептала, зашептала, стала расстегивать пуговицы. — Уж это такой залог... без этого, брат ты мой, я и существовать не могу. Все равно к тебе вернусь.

— Покажи...

Долго еще шептались тени, что-то прятали.

Потом настала тишина.

Луна вдруг выглянула из-за сосен и стыдливо завернулась в облака, как турчанка в чадру.

И темно.

2. В СУНДУКЕ ЗАЛОГ

Лил дождь. Маруся сидела у окошка и думала: «Куда же он, подлец, запропастился? Ох, чуяло мое сердце. Ну да ладно, попрыгаешь, попрыгаешь да придешь. Далеко без залога не ускачешь. Мое счастье в сундуке заперто... Но все-таки интересно, где он находится, соблазнитель моей жизни?»

3. ЗЛОДЕЙСКИЙ ПЛАН

Соблазнитель в это время находился в отделении милиции.

— Вам что, гражданин? — спросило его милицейское начальство.

Соблазнитель кашлянул и заговорил:

— Гм... Так что произошло со мной несчастье.

— Какое?

— Неопишуемая вещь. Трудкнижку посеял.

— Вещь описуемая. Бывает с неаккуратными людьми. При каких обстоятельствах произошло?

— Обстоятельства обыкновенные. Вот, извольте видеть, дыра в кармане. Вышел я погулять... Луна светит... Я ей и говорю...

— Кому ей?

— Тьфу!.. Это я обмолвился. Виноват. Ничего не говорю, а просто смотрю, батюшки — дыра, а труд книжки нет!

— Публикацию поместите в газете, а затем, вырезав ее, явитесь в отделение. Выдадим новую.

— Слушаюсь.

4. РОКОВОЕ ПИСЬМО

Через некоторое время в «Гудке» появилось:

«Утеряна труд книжка за № таким-то, на имя такого-то. Выдана таким-то отд. милиции 8 мая 23 г.»

А через некоторое время в «Гудок» пришло письмо, поразившее редакцию, как громом:

«Многоуважаемый товарищ редактор! Это все ложь! Книжка не утеряна, и такой-то врет. Он отдал ее мне в залог любви. А теперь опубликовывает в газете!»

5. ЭПИЛОГ

Такой-то рвал на себе волосы и кричал.

— Что ж мне теперь делать, после такого сраму?!

Стоял перед ним приятель и говорил ему:

— Не знаю, что уж тебе и посоветовать. Сделал ты подлость по отношению к женщине. Сам теперь и казись!

«Гудок», 12 февраля 1923 г.



ОНИ ХОЧУТ СВОЮ ОБРАЗОВАННОСТЬ ПОКАЗАТЬ...

...и всегда говорят о непонятном!

А. П. Чехов

Какие-то чудаки наши докладчики! Выражается во время речи иностранными словами, а когда рабочие попросили объяснить — он, оказывается, сам не понимает!

Рабкор Н. Чуфыркин

В зале над тысячью человек на три сажени стоял пар. И пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения.

— Итак, дорогие товарищи, я резюмирую! Интернациональный капитализм в конце концов и в общем и целом довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение, как бы изолировать советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией! Они используют все возможности вплоть до того, что прибегают к диффамации, то есть сочиняют письма, якобы написанные тов. Зиновьевым! Это, товарищи, с точки зрения пролетариата — моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из Второго Интернационала!

Оратор выпил полстакана воды и загремел, как труба:

— Удается ли это им, товарищи? Совершенно наоборот! Это им не удастся! Капиталистическая вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном соку, и перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов!!

И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила:

— Если кто имеет вопросы, прошу задавать.

В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина.

— Вы имеете, товарищ? — ласково обратился с эстрады совершенно осипший оратор.

— Имею, — ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид у Чуфыркина был отчаянный. — Ты из меня всю кровь выпил!

Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркина.

— Сижу — и не понимаю: жив я или уже помер, — объяснил Чуфыркин.

В зале настала могильная тишина.

— Виноват. Я вас не понимаю, товарищ, — оратор обидчиво скривил рот и побледнел.

— В голове пузыри буль-буль, как под водой сидишь, — объяснил Чуфыркин.

— Я не понимаю, — заволновался оратор.

Председатель стал подниматься с кресла.

— Вы, товарищ, вопрос имеете? Ну?

— Имею, — подтвердил Чуфыркин, — объясни — резюмирую.

— То есть как это, товарищ? Я не понимаю, что объяснить?..

— Что означает — объясни!

— Виноват, ах да. Вам не совсем понятно, что означает «резюмирую»?

— Совершенно непонятно, — вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов. — Вандея какая-то. Кто она такая?

Оратор стал покрываться клоквенной краской.

— Сию минуту. М-м-м... Так, вы про «резюмирую». Это, видите ли, товарищ, слово иностранное.

— Оно и видно, — ответил чей-то женский голос сбоку.

— Что обозначает? — повторил Чуфыркин.

— Видите ли, резю-зю-ми-ми... — забормотал оратор. — Понимаете ли, ну вот, например, я, скажем, излагаю речь. И вот выводы, так сказать. Одним словом, понимаете?..

— Черти серые, — сказал Чуфыркин злобно.

Зал опять стих.

— Кто серые? — растерянно спросил оратор.

— Мы, — ответил Чуфыркин, — не понимаем, что вы говорите.

— У него образование высшее, он высшую начальную школу окончил, — сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. Где-то засмеялись.

— Интервенцию — объясните, — продолжал Чуфыркин настойчиво.

— И диффамацию, — добавил чей-то острый, пронзительный голос сверху и сбоку.

— И кто такой камер-лакей? В какой камере?!

— Про Вандею расскажите!!

Председатель взвился, начал звонить.

— Не сразу, товарищи, прошу по очереди!

— Аккредитовать — не понимаю?!

— Ну, что значит аккредитовать? — растерялся оратор. — Ну, значит, послать к нам послов.

— Так и говори!! — раздраженно забасил кто-то на галерее.

— Интервенцию даешь!! — отозвались задние ряды.

Какая-то лохматая учительская голова поднялась и, покрывая нарастающий гул, заявила:

— И, кроме того, имейте в виду, товарищ братор, что такого слова «использовывать» в русском языке нет! Можно сказать — использовать.

— Здорово! — отозвался зал. — Вот так припаял! Шкраб, он умеет!

В зале начался бунт.

— Говори, говори! Пока у меня мозги винтом не завилило! — страдальчески кричал Чуфыркин. — Ведь это же немислимое дело!!

Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул:

— Тише! Предлагается перерыв на десять минут. Кто за?

Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.



ЧЕРТОВЩИНА

У нас, в Кузнецке, в один и тот же вечер, в один и тот же час, в помещении месткома было назначено заседание лавочно-наблюдательной комиссии, заседание производственной ячейки, заседание охраны труда, собрание рабкоров, а также заседание пионеров. А рядом идет кинематографическая картина: «Дочь Монтецумы». Получается такое, что описать нельзя.

Рабкор

В небольшой комнате тесно сидели люди, взъерошенные и потные. Над их головами висела «Дочь Монтецумы» с участием любимицы публики и королевы экрана и «Вокруг света в 18 дней».

Дверь раскрылась на одну четверть. В нее влезла рука с растерзанной манжетой, затем озверевшая голова. И голова эта начала кричать:

— Пустите меня, товарищи! Это безобразие.

— Влезайте! — кричали из комнаты.

— Пустите меня! — кричала голова, вырываясь из невидимых клещей за дверью.

За дверью же послышался крик:

— Не лягайтесь ногами, товарищ Крутобедров! Вы же не на базаре!

Стена затряслась, и на ней запрыгали слова: «Курьер Наполеона».

Растерзанная личность влезла наконец в комнатку, проникла на эстраду и оттуда хрипло забасила немедленно, как заводной граммофон:

— Говоря о цене на свиные котлеты, товарищи, я не могу не отметить с возмущением того факта, что в то время, как на частном рынке они 32 к., у нас в лавке № 17 они 33½...

Собрание на это ответило злобным гулом, а за дверью вырвался истерический крик:

— Скорее! Долго заседаете!

— Что вы про котлеты бормочете? — закричал в раздражении человек, притиснутый к «Дочери миллионера».

— Я не бормочу! — закричал в ответ оратор. — А докладываю.

— Про что докладываешь?

— Цены на свинину, — закричал докладчик.

— Выкатывайся ты со своей свининой к чертям! Где наш оратор? — кричали со всех сторон.

— Нету оратора, опоздал, черт его возьми! Значить, им надо уступить место!

Публика хлынула к дверям, а навстречу ей — другая, которая моментально расселась на стульях. За другой дверью тапер глухо заиграл полонез Шопена.

Взъерошенный докладчик всмотрелся в новые лица и забубнил:

— Говоря о цене на свиные котлеты, дорогие товарищи, я не могу не отметить с возмущением того факта, что в то время, когда на частном рынке цена на свиные котлеты 32 коп., а у нас в лавке № 17 они стоят 33½ коп...

Молодой человек в папаше встал и всжливое его перебил:

— Вы, товарищ, спутали. «Производство мяса» шло вчера, а сегодня «Кровь и песою».

— Сахарный песок тоже! — закричал оратор в отчаянии. — В то время, как на частном рынке он — 25½ коп...

— Нарезался объясняльщик перед картиной, — закричала с хохотом публика и вдруг рванулась к дверям, и Шопен моментально смолк.

Из всех дверей насыпалась новая публика.

— Говоря о цене на свиные котлеты, — в отчаянии начал ей докладчик, — я не могу не отметить с возмущением того факта, в то время, когда сахарный песок на рынке стоит 25½ коп., свинина у нас в магазине 36 коп. Разница, таким образом, дорогие товарищи...

— К чертям со свининой! — закричала новая публика. — Не наговорился еще в своей лавочной комиссии!

Докладчика с котлетами выпихнули куда-то, а другой влез на его место, закрыл глаза и торопливо забубнил:

— Вопрос о прозодежде — кардинальный вопрос, товарищи. До каких пор мы будем ждать рукавиц для ремонтных рабочих? Что же, спрашивается, они голыми руками...

Он бубнил около 3 минут и открыл глаза от страшных криков:

— Довольно! Достаточно! Наквакал о рукавицах — и будет, дай другим поговорить!

Какие-то взволнованные люди с карандашами в руках сидели, вытеснив предыдущую публику. Один из них выскочил на эстраду, спеца с рукавицами прижал к «Индийской гробнице» и немедленно начал кричать:

— Для того чтобы корреспонденция в газеты была наиболее актуальна, необходимо следовать такого рода правилам...

Но он не успел объяснить, какого рода правилам нужно следовать для того, чтобы корреспонденция была актуальна, потому что за дверью слева загремел марш «Железная дивизия», а с правой, за дверями же, хор в двести человек запел:

На дежурство из палатки
Не хотелось вылезать!!
Приходилось нам за пятки
Пионеров всех таскать!!!!

Тут и началось то самое, чего, по мнению корреспондента, описать нельзя. Поэтому и описывать не будем.

«Гудок», 18 февраля 1925 г.



МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА

У нас в клубе на ст. 3. был вечер прорицательницы и гипнотизерки Жанны.

Угадывала чужие мысли и заработала 150 рублей за вечер.

Рабкор

Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо:

— В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение сделал — отказала. Нюрочка. (*Публике громко.*) Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!

Зал поблбднел.

(*Жанне.*)

— Сделай загадочное лицо, дура. (*Публике.*) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (*Жанне.*) Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (*Публике.*) Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (*Жанне.*) Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (*Публике.*) Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну... Прошу вас сесть, мадмазель... по очереди, граждане! (*Жанне.*) Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (*Дела-*

ет какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне.) Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне.) Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике.) Итак, она спит! Прошу...

В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страха:

— Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?

Личность (Жанне.):

— На пальцы смотри внимательней, дура.

Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «раз-би-то-е».

— Ваше сердце, — заговорила Жанна, как во сне, гробовым голосом, — разбито коварной женщиной.

Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастливую помощника начальника станции.

— Как ее зовут? — хрипло спросил отвергнутый помощник.

— Эн, ю, эр, о, ч... — завертела пальцами у лацкана пиджака личность.

— Нюрочка! — твердо ответила Жанна.

Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.

— Выйду ли я замуж? — вдруг истерически выкликнула какая-то барышня. — Скажите, дорогая мадамзель Жанна?

Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.

— Нет, не выйдете, — сказала Жанна.

Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон.

Женщина с ридикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.

— Брось, Дашенька, — слышался сзади сиплый мужской шепот.

— Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы, — ответила обладательница ридикюля и сказала: — Скажите, мадамзель, что, мой муж мне изменяет?

Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючком, что означало «да».

— Изменяет, — со вздохом ответила Жанна.

— С кем? — спросила зловещим голосом Дашенька.

«Как, черт, ее зовут? — подумала личность. — Дай Бог памяти... да, да, да жена этого... ах ты, черт... вспомнил — Анна».

— Дорогая Ж...анна, скажите, Ж...анна, с кем изменяет ихний супруг?

— С Анной, — уверенно ответила Жанна.

— Так я и знала! — с рыданием воскликнула Дашенька. — Давно догадывалась. Мерзавец!

И с этими словами хлопнула мужа ридикюлем по правой, гладко выбритой щеке.

И зал разразился бурным хохотом.

«Гудок», 25 февраля 1925 г.



КОНДУКТОР И ЧЛЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ

Кондуктора Московско-Белорусско-Балтийской дороги снабжены инструкцией № 85, составленной во времена министерства путей сообщения, об отдании разных почестей членам императорской фамилии.

Рабкор

Кондуктора совершенно ошалели.

Бумага была глянцевиная, плотная, казенная, пришедшая из центра, и на бумаге было напечатано:

«Буде встретишь кого-либо из членов профсоюза железнодорожников, приветствуй его вежливым наклоном головы и словами: «Здравствуйте, товарищ». Можно прибавить и фамилию, если таковая известна.

А буде появится член императорской фамилии, то приветствовать его отданием чести согласно формы № 85 и словами: «Здравия желаю, ваше императорское высочество», а ежели это окажется сверх всяких ожиданий и сам государь император, то слово «высочество» заменяется словом «величество».

Получив эту бумагу, Хвостиков пришел домой и от огорчения сразу заснул. И лишь только заснул, оказался на перроне станции. И пришел поезд.

«Красивый поезд, — подумал Хвостиков, — кто бы это такой, желал бы я знать, мог приехать в этом поезде?»

И лишь только он это подумал, зеркальные стекла зашверкали электричеством, двери растворились и вышел из синего вагона государь император. На голове у него лихо сидела сияющая корона, а на плечах белый с хвостиками горноста́й. Сверкающая орденами свита, шлепая шпорами, высыпалась следом.

«Что же это такое, братцы?» — подумал Хвостиков и оцепенел.

— Ба! Кого я вижу? — сказал государь император прямо в упор Хвостикову, — если глаза меня не обманывают, это

бывший мой верноподданный, а ныне товарищ, кондуктор Хвостиков? Здравствуй, дражайший!

— Караул... Здравия желаю... засыпался... ваше... пропал, и с детками... императорское величество, — совершенно синими губами ответил Хвостиков.

— Что ж ты какой-то кислый, Хвостиков? — спросил государь император.

— Смотри веселей, сволочь, когда разговариваешь! — шепнул сзади свитский голос.

Хвостиков попытался изобразить на лице веселье. И оно вышло у него странным образом. Рот скривился направо, и сам собой закрылся левый глаз.

— Ну, как же ты поживаешь, милый Хвостиков? — осведомился государь император.

— Покорнейше благодарим, — беззвучно ответил полумертвый Хвостиков.

— Все ли в порядке? — продолжал беседу государь император. — Как касса взаимопомощи поживает? Общие собрания?

— Все благополучно, — отрапортовал Хвостиков.

— В партию еще не записался? — спросил император.

— Никак нет.

— Ну, а все-таки сочувствуешь ведь? — осведомился государь император и при этом улыбнулся так, что у Хвостикова по спине прошел мороз градусов на 5.

— Отвечай, не заикаясь, к-каналья, — посоветовал сзади голос.

— Я немножко, — ответил Хвостиков, — самую малость...

— Ага, малость. А скажи, пожалуйста, дорогой Хвостиков, чей это портрет у тебя на груди?

— Это... Это до некоторой степени т. Каменев, — ответил Хвостиков и прикрыл Каменева ладошкой.

— Тэк-с, — сказал государь император, — очень приятно. Но вот что: багажные веревки у вас есть?

— Как же, — ответил Хвостиков, чувствуя холод в желедке.

— Так вот: взять этого сукиного сына и повесить его на

багажной веревке на тормозе, — распорядился государь император.

— За что же, товарищ император? — спросил Хвостиков, и в голове у него все перевернулось кверху ногами.

— А вот за это самое, — бодро ответил государь император, — за профсоюз, за «вставай, проклятьем заклеименный», за кассу взаимопомощи, за «весь мир насилия мы разроем», за портрет, за «до основания, а затем»... и за тому подобное прочее. Взять его!

— У меня жена и малые детки, ваше товарищество, — ответил Хвостиков.

— Об детках и о жене не беспокойся, — успокоил его государь император, — и жену повесим, и деток. Чувствует мое сердце, и по твоей физиономии я вижу, что детки у тебя — пионеры. Ведь пионеры?

— Пи... — ответил Хвостиков, как телефонная трубка. Затем десять рук схватили Хвостикова.

— Спасите! — закричал Хвостиков, как зарезанный.

И проснулся.

В холодном поту.

«Гудок», 27 февраля 1925 г.



НЕУНЫВАЮЩИЕ БОДИСТКИ

Есть такой аппарат системы Бодо. Чрезвычайно удобная штука для телеграфирования. Вы, к примеру, сидите в Киеве, а ваша подруга у аппарата в Москве. И обоим на дежурстве до того скучно, что глаза пупом лезут. И аппарату тоже не черта делать. И вот вы пальчиками начинаете колдовать по клавишам, и получается очень интересный разговор.

КИЕВ (*начинает*). Трык, трык... Это ты, Лиза?.. Здравствуй, милашка...

МОСКВА (*приятно удивлена*). Неужели ты, Оля!.. Ну, рассказывай, какие новости.

КИЕВ (*гордо*). А у меня есть... а у меня есть...

МОСКВА (*заинтересованно*). Что есть?

КИЕВ. Милый муженек — Колечка!

МОСКВА. Правда?

КИЕВ. Ей-бо... но и кроме Колечки все мною увлекаются... А я, как всегда, кружу всем головы... Летом еду в Крым на курорт (*гордо*). Все за мною, как за дичью, гоняются...

МОСКВА (*крыть нечем*). А я после болезни располнела. И вообще играю на сцене. Бросила ныть и мямлить.

КИЕВ (*дразнит*). Мой Колечка цаца... Но я нарочно холодна с ним (*интимно*), трак-трак... Чтобы он жарче ласкал... Вообще здесь лучше, не то что на прежней должности.

(*Пауза.*) Они меня любят... Ну, а как ты, девочка, золото... По-прежнему такая же чистенькая, скромница и внутренними чувствами, и внешними? (*Аппарат вздыхает.*) Эх, детка, муж мой, Колечка, моложе меня, к тому же хохол... А вот есть, трык-трак... Васенька из Ленинграда, до чего он мне нравится!

МОСКВА (*шипильку по аппарату*). Ты же (*аппарат шипит*) увлекалась недавно Петенькой?.. Хи-хи... Не правда ли? (*Ш-шсс, как змея.*)

КИЕВ (*равнодушно*). Ну, ведь это же была фантастическая любовь. Меня оболгали всякие гады... Муж как раз уехал, а там мерзавцы сплетники наплели, что будто бы я с ним сыграла плохую штучку... (*Пауза.*) Ну, он и умер.

МОСКВА (*после молчания*). Какие еще новости?

КИЕВ. Катя в партию записалась!!!

МОСКВА. Ну?!

КИЕВ. Шурочка проездом из Одессы была у меня. Летом я думала к ней катнуть, но потом решила, лучше в Крым, на курорт... Да, Коханюк-то, помнишь, который за тобой ухаживал, женился. Ты слышишь?.. Женился... Хи-хи... Женился!

МОСКВА (*вздрагивает по аппарату*). Трр...

КИЕВ. Ну, всего лучшего, детка, хочу спатьки и тебе советую.

МОСКВА. А скажи, пожалуйста, у вас сокращения не предвидится? Не уволят тебя?

КИЕВ (*весело*). О, нет, я теперь очень прочная... Спокойной ночи. Трик...

П р и м е ч а н и е: Материал для фельетона взят с контрольных лент, копии которых присланы рабкором. По этим лентам две бодистки передали 1230 слов галиматьи, частично дословно записанной в фельетоне.

«Гудок», 6 марта 1925 г.



С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ

В нашем Саратовском доме труда и просвещения (клуб железнодорожников) происходят безобразия при постановке кино. С наступлением темноты хулиганы на балконе выражаются разными словами, плюют на головы в партер. Картины рваные, а кроме того, механик почему-то иногда пускает их кверху ногами.

Рабкор

Яков Иванович Стригун со своей супругой променяли два кровных пятака на право посмотреть чудную картину «Тайна склепа» — американскую трюковую, с участием любимицы публики.

— Садись, Манечка, — бормотал Стригун, пробираясь с супругой в 20-й ряд.

Манечка села, и в зале свет погас. Затем с балкона кто-то плюнул, целясь Манечке на шляпку, но промахнулся и попал на колени.

— Не смей плевать! Хулиганы, — вскричал Стригун, как петух.

— Молчи, выжига, — ответила ему басом тьма с балкона.

— Я жаловаться буду! — крикнул Стригун, размахивая кулаками в темноте и неясно соображая, кому и на кого он будет жаловаться.

— Если не замолчишь, плюну тебе, мне твоя лысина отчетливо видна, отсвечивает, — пригрозила тьма.

Стригун накрылся шапкой и прекратил войну.

На экране что-то мигнуло, раскололось надвое, пошел темными полосами дождь, а затем выскочили огненные и неизвестно на каком языке слова. Они мгновенно скрылись, а вместо них появился человек в цилиндре и быстро побежал, как муха по потолку, вверх ногами. Крышей вниз появился дом, и откуда-то из потолка выросла пальма. Затем

приехал вверх колесами автомобиль, с него, как мешок с овсом, свалился головою вниз толстяк и обнял даму.

Дружный топот потряс зал.

— Механик, перевернись! — кричала тьма.

Яркий свет залил зал, потом стемнело, и на экран вышел задом верблюд, с него задом слез человек и задом же помчался куда-то вдаль. В зале засвистали.

— Задом пустил механик картину! — кричали на балконе.

На экране вдруг лопнуло, как шарообразная молния, и затем под тихий вальс на экране выросла вошь величиной с теленка.

— Вот мерзость, — сказала в ужасе Манечка, — к чему она в склепе, не пойму?

К первой вши прибавилось 7 новых, и они с унылыми мордами, шевеля лапками, понесли гроб. Рояль играл мазурку Венявского. В гробу лежал человек, как две капли воды похожий на Стригуна. Манечка охнула и перекрестилась, Стригун побледнел.

Выскочила огненная надпись:

«Вот что ждет тебя, железнодорожник, если ты не будешь ходить в баню и стричься!»

— И бриться! — завыл балкон, — скинь вшу с экрана! Вшей вчера видали, даешь «Тайну склепа»!

Музыка заиграла полечку. Выскочили слова «Чаплин женился!». И опять исчезли. Вместо них показались на толчке ноги в белых гетрах. Потом все исчезло с экрана. Несколько мгновений сеялись какие-то темные пятна, затем и они пропали. Вышла маленького роста личность в куцем пиджаке и объявила:

— Сеанс отменяется, так как у механика перегорели угли.

Зал приветствовал его соловьиным свистом, и публика, давя друг друга, кинулась к кассе.

Возле нее еще долго бушевала толпа, получая обратно свои пятаки.

Михаил Б.

«Гудок», 10 марта 1925 г.

РЯД ИЗУМИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОДАРОК ЛУКИЧА

Иногда людям нечего бывает делать, хотя бы даже и на транспорте. И вот Лукич сочинил в редакцию «Гудка» письмо:

«Хочется многое вам привезти в подарок ко дню 12-го марта, дню самодержавия...»

Такое громкое начало крайне всех заинтересовало. «Придумал Лукич подарочек», — подумали все. Что же он придумал? Оказывается, подарить ему нечего, поэтому подарил свой собственный проект.

«Для того, чтобы все знать без волокиты и справок о пишущем товарище, необходимо, по-моему, в дальнейшем установить цвет чернил для подписи, дабы знать, кто откуда, чей такой, и присвоить:

- партийному — красный цвет,
- кандидату — зеленый цвет,
- беспартийному — фиолетовый,
- а лишенному избирательных прав — черный цвет».

Вот спасибо вам за подарок! Продолжаем этот список:

- уголовным — химический карандаш,
- женатым — карандаш обыкновенный,
- лысым — цветной карандаш.

Но кроме шуток, фиолетовыми чернилами отвечаю вам, Лукич:

- Совершенно невыносимую чепуху вы придумали.

Кроме того, почему-то ваше письмо написано черными чернилами. Сами подумайте, какой из этого можно сделать вывод, согласно вашему проекту.

КАК ИСТРЕБИТЬ ДЕВИЦ НА ТРАНСПОРТЕ

Корреспондент рожден был хватким:

«Машинистка Икс, таких-то дорог, девица, прижила ребенка с гражданином Игрек и по суду получает от него 20 руб. в месяц, неся прежнюю службу.

Я ничего не имею против наказывания таких граждан, как Игрек, — заносчиво пишет автор проекта, — но при чем тут транспорт, дающий отпуска для родов, отлучки для кормления ребенка и т. п.?

Как работающий в НОТу и в производственных комиссиях, я считаю, что на транспорте в связи с сокращением штата должны остаться лишь вполне работоспособные агенты, каковыми не могут быть ни девицы-матери, ни жены служащие».

Далее, работающий в НОТу пишет что-то, чего нельзя понять... Вероятно, смысл таков, что девиц нужно вышибать с транспорта начисто.

Не бойтесь, девицы, ничего с вами не сделает лихой корреспондент.

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ

«На ст. Гомель-пасс. Зап. дорог у входа в пассажирский зал стоит автомат, выкидывающий за 15 коп. перронный билет».

Оказывается, автомат этот негодяй:

«Одинаково выдает билеты и за царскую серебряную монету, и за советскую!»

Злостный автомат!

Корреспондент предлагает проект — поставить около автомата человека, который бы проверял монету!

Нет, это не подходит, товарищ. Потому что тогда и автомат не нужен, если человек будет стоять.

Собрал М. Б.

«Гудок», 21 марта 1925 г.



ПРАЗДНИК С СИФИЛИСОМ

По материалу, заверенному Лака-Тыжменским сельсоветом.

В день работницы, каковой празднуем ежегодно марта восьмого дня, растворилась дверь избы-читальни, что в деревне Лака-Тыжма, находящейся под благосклонным шефством Казанской дороги, и впустила в избу-читальню местного санитарного фельдшера (назовем его хотя бы Иван Иванович).

Если бы не то обстоятельство, что в день 8 Марта никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным, да еще и на доклад, да еще в избу-читальню, если бы не обстоятельство, что фельдшер Иван Иванович, как хорошо известно, в рот не берет спиртного, можно было бы побиться об заклад, что фельдшер целиком и полностью пьян.

Глаза его походили на две сургучные пробки с сороковок русской горькой, и температура у фельдшера была не выше 30 градусов. И до того ударило в избе спиртом, что председатель собрания курение прекратил и предоставил слово Ивану Ивановичу в таких выражениях:

— Слово для доклада по поводу международного дня работницы предоставляется Ивану Ивановичу.

Иван Иванович, исполненный алкогольного достоинства, за третьим разом взял приступом эстраду и доложил такое:

— Прежде чем говорить о международном дне, скажем несколько слов о венерических болезнях!

Вступление это имело полный успех: наступило могильное молчание, и в нем лопнула электрическая лампа.

— Да-с... Дорогие мои международные работницы, — продолжал фельдшер, тяжело отдуваясь, — вот я вижу ваши личики передо мной в количестве 80 штук...

— Сорока, — удивленно сказал председатель, глянув в контрольный лист.

— Сорока? Тем хуже... То есть лучше, — продолжал оратор, — жаль мне вас, дорогие мои девушки и дамы... пардон, — женщины! Ибо чем меньше населения в данной области, как показывает статистика, тем менее заболеваний венерическими болезнями, и наоборот. И в частности, сифилисом... Этим ужасным бичом для пролетариата, не щадящим никого... Знаете ли вы, что такое сифилис?

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Помолчи минутку. Не перебивай меня. Сифилис, — затяжным образом икая, говорил оратор, — штука, которую схватить чрезвычайно легко! Вы тут сидите и думаете, что, может быть, вы застрахованы?

(Тут фельдшер зловеще засмеялся...)

— Ха! Шиш с маслом. Вот тут какая-нибудь девушка ходит в красной повязке, радуется, восьмые там марта всякие и тому подобное, а потом женится и, глядишь, станет умываться в один прекрасный день... сморкнется — и хлоп! Нос в умывальнике, а вместо носа, простите за выражение, дыра!

Гул прошел по рядам, и одна из работниц, совершенно белая, вышла за дверь.

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Виноват. Мне поручено, я и говорю. Вы думаете, что, может, невинность вас спасет? Го-го-го!.. Да и много ли среди вас неви...

— Иван Иванович!! — воскликнул председатель.

Еще две работницы ушли, оглянувшись в ужасе на эстраду.

— Придете вы, например, сюда. Ну, скажем, бак с кипяченой водой... То да се... Жарко, понятное дело, — расстегивая раскисший воротничок, продолжал оратор, — сейчас, понятное дело, к кружке... Над вами: «Не пейте сырой воды» и тому подобные плакаты Коминтерна, а пред вами сифилистик пил со своей губой... Ну, скажем, наш же председатель...

Председатель без слов завыл. 20 работниц с отвращением вытерли губы платками, а кто их не имел — подолами.

— Что ты воешь? — спросил фельдшер у председателя.

— Я никаким сифилисом не болел!!! — закричал председатель и стал совершенно такой, как клюква.

— Чудак... Я к примеру говорю... Ну, скажем, она, — и фельдшер ткнул трясущимся пальцем куда-то в первый ряд, который весь и опустел, шурша юбками.

— Когда женщина 8 Марта... Достигает половой, извиняюсь, зрелости, — пел с кафедры оратор, которого все больше развозило в духоте, — что она себе думает?

— Похабник! — сказал тонкий голос в задних рядах.

— Единственно, о чем она мечтает в лунные ночи — это устремиться к своему половому партнеру, — доложил фельдшер, совершенно разезжаясь по швам.

Тут в избе-читальне начался стон и скрежет зубовой. Скамьи загремели и опустели. Вышли поголовно все работницы, многие — с рыданием.

Остались двое: председатель и фельдшер.

— Половой же ее партнер, — бормотал фельдшер, качаясь и глядя на председателя, — дорогая моя работница, предается любви и другим порокам...

— Я не работница! — воскликнул председатель.

— Извиняюсь, вы мужчина? — спросил фельдшер, тараща глаза сквозь пелену.

— Мужчина! — оскорбленно выкрикнул председатель.

— Не похоже, — икнул фельдшер.

— Знаете, Иван Иванович, вы пьяный, как хам, — дрожа от негодования, воскликнул председатель, — вы мне, извините, праздник сорвали! Я на вас буду жаловаться в центр и даже выше!

— Ну, жалуйся, — сказал фельдшер, сел в кресло и заснул.

Михаил.

«Гудок», 27 марта 1925 г.



РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Повесть

Глава I

КУРРИКУЛЮМ ВИТЕ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещавшийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессора Ульяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с $\frac{1}{4}$, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание та-

раканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному периоду коммунизма. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и в калошах в коридоре выставяющего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему: «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю, и, кроме того,

на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах.

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!

Подобно тому как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатизэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2 $\frac{1}{2}$ тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: «Еще к вопросу о размножении бляшконосных, или хитонов». 126 стр. «Известия IV Университета».

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Переиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные сплюснутые внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо, — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:
— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амёб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу, — пробурчал он, — пропал. Понимаю. По-о-нимаю, — протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху, — поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчание как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персиков, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

— Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... — Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелой дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, — профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, — гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко.

Придется в руках нести. — Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких, и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сипловатым голосом, — что ж ты другую-то калошку пропил!

— Видно, в «Альказаре» набрался старичок, — завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, вырвал изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава III

ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амёбы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полоску и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стайей и

боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амев, а во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амев, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросой, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. — Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амев.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру, — что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персигов.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить тот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персигов, чувствуя, что заминочку надо разрешить...

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персигов, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опытты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастика. Но

этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалее. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное. — Видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну, — пробормотал он.

— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

— А, это роман, — ответил Персиков.

— Ну да, Господи, известный же!..

— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте. — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров

мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, — ведь это же чудовищно!

Глава IV

ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столбе, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатана: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— «Певсиков», — проворчал Персиков, взяв с камерой в кабинете, — откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

*Альфред Аркадьевич
Бронский*

Сотрудник московских журналов — «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».

— Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся

со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из гелею, они говорят, — бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

— Позови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь, — ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошились по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят, — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Пер-

сиков визгливо и пожелтев, — я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да, — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор, — что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, — сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишете! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков, — что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, закричал Персиков, — вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, квакши?

— Из полфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос, — завыл Персиков, — и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованное постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыкала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков, — Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться — капитан дальнего плава-

ния и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор, — я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел телефон по-немецки, — дас их штёре. Их бин митарбейтер дес Берлинер Тагеблатс...

— Панкрат! — закричал в трубку профессор, — бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт ниht емпфанген!.. Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* * *

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сильные голоса, вертась в гуще огня между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. — Кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: — «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и нозрячими глазами, с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч» — гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка» начиналась статья словами:

«Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись: «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на

небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомиться с результатами вашего изумительного открытия, — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я, — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, — никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, — но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек, — ведь вам теперь все равно...

— Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастика, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту, — глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го, — шуршала толпа, задирая головы.

— Каков мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку, — как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, — господин профессор, — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гирия. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети, — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту, — закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава V

КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Карларадековской улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянь, глянь, Матрена, — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжело, — ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозной пропаганды, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало. «Эр... рр... урл... урл... го-го-го», — выделяла хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на короточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водички, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам, — это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на

спину, обе ноги задрала вверх и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостя наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу, — что ж, они со свету меня сжить хотят?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное хлоптанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостя, — зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненной рожеею между рожками молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рванный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в закрытом курятнике и тихо. Петух свалился с наместа вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курят-

никах было мертво и тихо, лежала грудami зачоченевшая птица.

Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Карларадековской улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нему катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

* * *

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что такое? — искренно недоумевал учсный чудак, — что с ними такое сделалось?

В 10¹/₄ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».

— Черт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль.

«Какая гнусная рожа», — почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «Но... господин профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — Так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого:

— Время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. Он позволил...

— Профессор ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах, нет, хи-хи-хэ... — он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как то: Варшаве и Риге уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова за-

таив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжело положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди... Здесь никого нет посторонних?... Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном писании. Государству известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м и 20-м году во время этой хихи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестьясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через $\frac{1}{4}$ часа с запиской:

«Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па кало: Колесов».

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субьекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает, — бубнил Персиков, — ну противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрепче.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами», — и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконично и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изумительно колющие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Про-

фессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил... что пока, гм... конечно, это было б хорошо... о, видите ли, все-таки пресса... хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны... честь имеем кланяться.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо... — И получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдвигая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептал, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако, у вас здорово поставлено дело, — промышчал Персиков и прибавил наивно: — А что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — несло из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У, не приведи Бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этому был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков

слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик, и чисто зоологический. Позвольте предложить?

— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат,пусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:

— Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так, — почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?
— Заведующий литературной частью.
— Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.
Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подражывались тысяча человек... — из семейства фазановых... фазаниидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, резной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дикоживущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух, или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух, или Галлус Вариус, на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, — тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупнозодифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмонамикоз, туберкулез, куриные парши... мало ли, что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

— Я не читаю газет, — ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут, — не задуываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор? — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовков через всю страницу газеты: «Куриный мор в республике».

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Глава VI

МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над

десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина; выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

— Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

— Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. — хохотал и плакал, как шакал, рупор, — в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милицио-

неров пронесли шипящие машины с надписью: «Мос-
здравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, — шуршали
в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонаря-
ми сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем
на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные
вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению —
омлета нет. Получены свежие устрицы».

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские
фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей
глаза своим поразительным светом эстраде куплетисты
Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами
Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц?? —

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погиб-
шего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинско-
го «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голы-
ми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электри-
ческую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга
«Курий дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслужен-
ного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариу-
ме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнажен-
ным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплоди-
сментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны
дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли ве-
реницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты.
В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес мо-
торов:

— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится
к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Перси-
кова!!

В цирке бывшего Никитина на приятно пахнущей наво-
зом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун
Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га, — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков, — извините.

— Извиняюсь, — ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Глава VII

РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умели ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в

больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопное волоколамское гепеу приняло меры, в результате которых, во-первых, бесследно исчез пророк, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой в составе шестнадцати товарищей. Был основан «Доброкур», почетными товарищами председателя в который вошли Персикив и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогредел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!»

Профессор Персикив совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вече-

рами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, — вся его голова была полна другим — основным и важным, — тем, от чего его оторвала его куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыба и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новые большие камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в трубе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахы самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаху сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль.

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, — ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хотя и крупному ребенку.

— Он быстрее ходит, — ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков, и щипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая, после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащей рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с, — ответил Панкрат и как уж исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет «маузер» в желтой битой кобуре.

Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величествен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный Луч», — пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

От слова «товарищ» Персиков настолько отвык, что сейчас оно резнуло ему ухо. Он явно раздражился.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол, — с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да ведь он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

— Извиняюсь, — начал он, — я завед...

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рывкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь, — начал он, — вы же, товарищ?..

— Что вы все товарищ да товарищ... — хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако», — написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста, — перебил Персиков. — Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, — пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2, — Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, — а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, — раздраженно ответил профессор. — Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу.

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

— Извин...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это государственной важности дело...

— Ага. Государственной? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, — ответил Рокк, — вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков, — что же вы, хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

— Товарищ профессор, — ответил Рокк, — вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что государству необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете, — загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне, — ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры.

— Что значит? Когда?

— Да вот я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и ох-рана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустились столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную

картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

— Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, — жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страха руки по швам...

— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:

— Лучше б убил, ей-бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо... — уверял Панкрат.

— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.

— Никак, — согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава VIII

ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становился на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

«СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черные камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

VORSICHT: EYER!!
ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно поглядывая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы не видите — яйца?..

— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. Какие большие!

— Заграница, — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, — разве это наши мужиц-

кие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело, — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персигов взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю, — брезгливо спросил Персигов в черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний, мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персигов, — откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк, — сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? Ах да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?... прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

— Ну?

— ...А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?

— Конечно, не нужно... Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

— Заряжаю. Да, — ответила трубка.

— Гм, — хмыкнул Персигов.

— Пока, — цокнула трубка и стихла.

— «Пока», — с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, — как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

— Д... д... д... — заговорил Персиков злобно, — вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. — Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

— Совершенно верно, — согласился Иванов.

— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

— Нельзя поручиться, — согласился Иванов.

— И какая развязность, — расстраивал сам себя Персиков, — бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. — Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе) — ...а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да... — сказал он многозначительно.

— И ведь заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всякое содействие...

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно, — согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. Гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, — злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент, — заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь, — продолжал Персиков, — только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние. Пришлют какой-нибудь гадости.

— Нет, нет, — и Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишете отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру, — ответил Иванов, — мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил... Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм... это остроумная идея... Очень, — Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул...

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозного полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немислимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой Дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают... —

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специ-

альностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Одессе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927-й и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную политико-литературную газету, а засим, как местный член высшей коммунально-хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению Туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Кремль принял Александра Семеновича, Кремль согласился с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось

даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар сверху в 15 000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, — вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило немолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его

полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно пред грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с комитетом в Грачевке. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробы с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметеве. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковать самым неприятным образом, то есть за спиной Александра Семеновича.

— Действительно это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча?

— Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных

яйцах. Токи... токи... токи... токи... стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруду. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович, все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры, — это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал, сияя, Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, — строго добавил он. — Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо, — хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки... закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело, — уверял охранитель, — я тут не причинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен, — распекал его Александр Семенович, — что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю, — обиделся наконец воин, — что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куда ж они подевались?

— Да я почему знаю, — взбесился наконец воин, — что я, их укараулю разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает, — бормотал Александр Семенович, — окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович, — крайне удивилась Дуня, — станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып... — начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло

первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют, — сказал Александр Семенович, — вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу...

— Да, дело замечательное, — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и, чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узкие пружинные кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволол бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глущую стену сорной заросли.

— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и не мигая смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истощенный визг пронизал весь совхоз, разорся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой и ее длинные волосы, как провололочные, поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженым винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Глава IX

ЖИВАЯ КАША

Агент государственного политического управления на станции Дугино Шукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну что ж, поедем. А? Давай мотоцикл. — Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами, — сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, — покажете нам где и что. — Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать, — добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву, — плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно, — решил Щукин, — вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошень-

кая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмурия светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидели, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Щукин. — Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворе с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям, — распорядился Щукин, — все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

— Погоди-ка, — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерею и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с-с... — шипела оранжерея.

— А ну-ка осторожно, — шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змей всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погребушки звякали и шипели, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад, — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно уси-

лился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. Чах-чах-чах-тах, — стрелял Полайтис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох слышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо, на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбilo его на землю.

— Помоги, — крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев и выпустив Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги, — промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжерей, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение ока обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела.

Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

Глава X

КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу Республик». Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в «Русском Слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж, — что же ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная телеграмма.

— Попрасидновали, это верно, — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: «Ничего интересного», и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки.

В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с, — говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает что такое, — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, — это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудями, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Слово до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, — он стал считать по пальцам, — ловля... ну, десять дней самое большее, ну, хорошо — пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неописуемое безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «доброхим», «не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче» и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег

спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический Вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «занято», «занято», и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе, — отвечали наборщики, ведь это что ж такое. — Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков, — отвечали из гуши, — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только

усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, вперемежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то, — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усыянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — был профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, — это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с

надписью: «экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, выслушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая, Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что, — задыхаясь, забормотал он, — теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, — он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользящей над змеей, — кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу.

— Владимир Ипатьич, это анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... — Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеинные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... Боже мой, — повторил Персиков и, зеленя лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, — и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... — Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая невероятные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видели ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. — Воды ему... у него удар.

Глава XI

БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы ни сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и по минутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезан-

ное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву, и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые, как попало, из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлексорами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзалы. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроколенных шлемах, ошетилившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все

встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия, шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою выть.

— Да здравствует конная армия! — кричали иступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!!! давят!.. — выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремяна и целуя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ. Доброхим».

— Выручайте, братцы, — завывали с тротуаров, — бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать... — перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку — ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улета́л, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура...».

* * *

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Перси́ков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодиловых яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что, в случае если гадов не удастся удержать в 200-верстной

зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него, только два человека были в институте: Панкрат и, то и дело заливающая слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг слышались ненавидимые звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с винтящегося

стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминающий прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, — они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издали донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

— Мирowego злодея!

— Ты выпустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — и закон-

чил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава XII

МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный, мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда

мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданном холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гниlostных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго поварьные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и закружилась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными

ми пучками света, его не скомбинировали второй раз, не смотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персигов.

Москва, 1924 г., октябрь
Альманах «Недра», 1925, кн. 6

Публикуется по книге: М. Булгаков. Дьяволиада, издательство «Недра», Мосполиграф, 1925.

Куррикулум витэ профессора Персикова — жизненный путь.
Джиакомо Бартоломео Беккари — итальянский медик и физик
XXVII—XXVIII вв.

Россолимо Г. И. (1860—1928) — известный невропатолог.
Юз Чарльз Эванс — государственный секретарь США в 1921 —
1924 гг.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Петелин. Год перемен и надежд</i>	5
Торговый дом на колесах	41
Белобрысова книжка	45
Просвещение с кровопролитием	50
Бурнаковский племянник.....	52
Золотые документы	58
Крысиный разговор	62
Багровый остров.....	64
Говорящая собака.....	81
Повесили его или нет.....	86
Москва 20-х годов.....	90
Ханский огонь	103
Пустыня Сахара.....	121
Рассказ Макара Девушкина	127
Незаслуженная обида	130
Сапоги-невидимки.....	132
Охотники за черепами	135
Приключение покойника	139
Банные дела.....	142
Заседание в присутствии члена	147
Главполитбогослужение	151
Как школа провалилась в преисподнюю	154
Допрос с беспристрастием	156
На каком основании десятник женился?!	158
Пивной рассказ	159
Кривое зеркало	161
Как бороться с «Гудком», или Искусство отвечать на заметки	165
Как, истребляя пьянство, председатель транспортников истребил!.....	167
Брачная катастрофа.....	171
Документ-с	173
Площадь на колесах	175
Сотрудник с массой, или Свиство по профессиональной линии.....	178
Три копейки	181
Ре-ка-ка.....	183

Египетская мумия	185
Игра природы	188
Увертюра Шопена	192
Колыбель начальника станции	194
Не свыше	196
Рассказ про Поджилкина и крупу	198
Библифетчик	201
По голому делу	203
Проглоченный поезд	205
Стенка на стенку	207
Новый способ распространения книги	211
Повестка с государем императором	213
Смуглявый матерщинник	215
Обмен веществ	217
Война воды с железом	219
Рассказ рабкора про лишних людей	223
Под мухой	225
Гибель Шурки-уполномоченного	227
Три вида свинства	229
Звуки польки неземной	232
Банан и Сидараф	235
Счастливчик	238
Собачья жизнь	240
Желанный платило	242
«Ревизор» с вышибанием	245
По телефону	248
Целитель	251
Аптека	253
Заколдованное место	255
Круглая печать	258
Гениальная личность	261
Коллекция гнилых фактов	264
Ревизия	266
Богема	268
Приключения стенгазеты	275
Удачные и неудачные роды	279
Залог любви	281
Они хотят свою образованность показать	284
Чертовщина	287
Мадмазель Жанна	290
Кондуктор и член императорской фамилии	293
Неунывающие бодистики	296
С наступлением темноты	298
Ряд изумительных проектов	300
Праздник с сифилисом	302
Роковые яйца	305

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ
И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРОМСТРОЙБАНКА РОССИИ



ПРОМСТРОЙБАНК Р О С С И И

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ПРОМСТРОЙБАНКА,
ПРЕЗИДЕНТ
КОРПОРАЦИИ «РАДИОКОМПЛЕКС»
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ШИМКО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ПРОМСТРОЙБАНКА
ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ ДУБЕНЕЦКИЙ**

